



Н·С·ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

Шерамур
(Праведники #10)

Содержание

Глава первая	0005
Глава вторая	0007
Глава третья	0010
Глава четвертая	0012
Глава пятая	0013
Глава шестая	0016
Глава седьмая	0021
Глава восьмая	0027
Глава девятая	0035
Глава десятая	0044
Глава одиннадцатая	0048
Глава двенадцатая	0056
Глава тринадцатая	0063
Глава четырнадцатая	0065
Глава пятнадцатая	0067
Глава шестнадцатая	0076
Глава семнадцатая	0083
Глава восемнадцатая	0094
Глава девятнадцатая	0099
Глава двадцатая	0103
Глава двадцать первая	0106
Глава двадцать вторая	0108
Глава двадцать третья	0111
Глава двадцать четвертая	0119

Николай Лесков
Шерамур
(Чрева-ради юродивый)

Глава первая

По некоторым, достаточно важным причинам выставленная кличка должна заменять собственное имя моего героя – если только он годится куда-нибудь в герои.

Если бы я не опасался выразиться вульгарно в самом начале рассказа, то я сказал бы, что Шерамур есть *герой брюха*, в самом тесном смысле, какой только можно соединить с этим выражением. Но все равно: я должен это сказать, потому что свойство материи лишает меня возможности быть очень разборчивым в выражениях, – иначе я ничего не выражу. Герой мой – личность узкая и однообразная, а эпопея его – бедная и утомительная, но тем не менее я рискую ее рассказывать.

Итак, Шерамур – *герой брюха*; его девиз – *жрать*, его идеал – *кормить других*; в этом настроении он имел похождения, достойные некоторого внимания. Я опишу кое-что из них в коротких отрывках: это единственная форма, в которой можно передать что-нибудь о лице, не имевшем никакой последовательности и не укладывающемся ни в какую фор-

му.

Начинаю с того самого случая, как он показался первому человеку, который обнаружил в нем нечто достойное наблюдения.

Летом 187* года в Париж прибыл из Петербурга литературный Немо.[1] Он поселился в небольшой комнатке, против решетки Люксембургского сада, и жил тут тихо и смиренно несколько дней, как вдруг однажды входит к нему консьерж и говорит, что пришел «некто» и требует, чтобы monsieur вышел к нему – на лестницу.

Немо имел основания не любить таинственности и с неудовольствием спросил:

– Кто это такой и что ему нужно?

– Я думаю, это некто из ваших, – отвечал француз.

– Это мужчина или женщина?

– Во всяком случае мне кажется, что это скорее мужчина.

– Так попросите его сюда.

– Да, но мне кажется, что ему неудобно войти.

– Разве он пьян?

– Нет; он... разделет.

Глава вторая

На узенькой спиральной лестнице с крошечным окном в безвоздушный канал, образовываемый тремя сходящимися острым углом стенами, стояла очень маленькая, но преоригинальная фигура. Первое, что бросилось в глаза Нето, были полудетские плечи и курчавая голова с длинными волосами, покрытая истасканною бандитскою шляпою.

Сначала казалось, что это костюмированный тринадцати- или четырнадцатилетний мальчик, но чуть он оборотился, вид изменился: перед вами прежде всего два яркие, черные глаза, которые горят диким, как бы голодным огнем, и черная борода замечательной величины и расположения. Она заросла по всему лицу почти под самые глаза и вниз закрывает грудь до пояса. Таковую бороду, по строгановскому лицевому подлиннику, указано писать только преподобному Моисею Мурину, вероятно ради особенности его мадьярского происхождения и мучительной пылкости темперамента этого святого, которому зато и положено молиться «от неистойвой стра-

СТИ».

Немо подошел к незнакомцу и спросил:

– С кем я имею честь...

– Никакой нет чести, – отвечал незнакомец не натуральным, а искусственным баском, как во время оно считали обязанностью хорошего тона говорить кадеты выпускного класса. Немо понимал некоторый толк в людях и сам переменял манеру.

– Что же вам надо? – спросил он гостя.

– Имею дело.

– Так войдите в комнату.

– У вас нет никого?

– Никого.

– Могу.

И незнакомец пошел за хозяином важно и неспешно, переставляя свои коротенькие ножки, а когда взошел, то сел и, не снимая шляпы, сейчас же спросил:

– Нет ли у вас работы?

– Работы!

– Да, нет ли у вас какой работы?

– Да какая же у меня работа?

– Разве я знаю, какая?

– Вы мастеровой?

– Нет, не мастеровой, а мне говорили, что вы романы пишете.

– Это правда.

– Так я переписывать.

– Но теперь я ничего не пишу.

– Вот как! Значит – сыты.

Он встал и, немного насупясь, добавил:

– А деньги есть у вас?

Хозяин невольно посторонился и спросил:

– Что это значит?

– Значит, что я три дня не жрал.

– Сколько же вам нужно?

– Мне нужно много, но я у вас хочу взять два франка.

– Извольте.

Турист опустил руку в портмоне и подал своему гостю пятифранковую монету.

– Здесь больше, – сказал тот.

– Это все равно.

– Да, разумеется, – вы сдачи получите.

С этим он завернулся и вышел тем же ровным шагом, с тою же неизменною важно-стью. Во время разговора можно было видеть, что у него некрепко держатся рейтузы и под блузою нет рубашки.

Глава третья

Нето рассказал историю землякам: те сразу узнали.

– Это, – говорят, – Шерамур.

– Кто он?

– Неизвестно.

– Во всяком случае он русский.

– О да! русский, у него какая-то таинственная история.

– Политическая?

– Кто его разберет! но, кажется, политическая.

– По какому делу он сюда сбежал?

– Право, не знаю, да и знает ли он сам об этом – сомневаюсь.

– Он не сумасшедший?

– Разве с точки зрения доктора Крупова.

– И не плут?

– Нет, он по-своему даже очень честен: да вот вы сами в этом убедитесь.

– Каким образом?

– Он занял у вас денег?

– А вы почему так думаете?

– Если он приходил, значит или долг при-

нес, или умирает с голоду и в долг просит.

– Я ему очень мало дал.

– Все равно: он принесет.

– Я этого вовсе не требую.

– Мало ли что! А вы если хотите у него заискать, то сведите его пожрать.

– Он не обидится?

– Нимало; он человек натуральный; только не ведите в хорошее место: этого он терпеть не может, а куда-нибудь погрязнее.

Глава четвертая

На другое утро спит Нето и слышит:
– Проснитесь!

Тот открыл глаза и увидел перед собою Шерамура. Он был по-вчерашнему в блузе без рубашки и в бандитской шляпе. Только яркий, голодный блеск черных глаз его немножко смягчился, и в них даже как будто мелькало что-то похожее на некоторый признак улыбки. Он протянул к хозяину руку и проговорил:

– Получайте.

– Что это?

– Три франка сдачи.

– Присядьте, – я сейчас встану, и мы пойдем вместе завтракать.

Шерамур сел и, положив деньги на стол, проговорил:

– Могу.

Глава пятая

Они пили и ели именно так, как хотел того Шерамур, даже не у Дюваля, а пошли по самому темному из закоулков Латинского квартала и приютились в грязненьком кабаке дородной, богатырского сложения нормандки, которую звали Tante Grillade. Это была единственная женщина в Париже, которую Шерамур знал по имени и при встречах с которою он кивал ей своею горделивою головою. Она этого стоила, потому что имела историческую репутацию высокой пробы. Если она не лгала, то она в самом цвете своей юности была предметом внимания Луи Бонапарта и очень могла бы ему кое-что напомнить, но с тех пор, как он сделался Наполеоном Третьим, Grillade его презирала и жила, содержа грязненькую съестную лавку.

Было ли это все правда, или только отчасти, – это оставалось на совести Танты, но Шерамур ей верил: ему нравилось, что она презирает «такого барина». За это он ее уважал и доказывал ей свое уважение, перед ней одной снимая свою ужасную шляпу. Притом же она

и ее темный закоулок составляли для Шерамура очень приятное воспоминание. Здесь, в этой труппе, к нему раз спускалось небо на землю; здесь он испытал самое высокое удовольствие, к которому стремилась его душа; тут он, вечно голодный и холодный нищий, один раз давал пир – такой пир, который можно было бы назвать «пиром Лазаря». Шерамур самыми удивительными путями получил по матери наследство в триста или четыреста франков и сделал на них «пир Лазаря».

Он отдал все эти деньги Танте и велел ей «считать», пока он проест.

С того же дня он ежедневно водил сюда по нескольку *voyou*[2] и всех питал до тех пор, пока Танта подала ему счет, в котором значилось, что *все съедено*.

Теперь он сюда же привел своего консоматера. Им подали скверных котлет, скверного пюре и рагу из обрезков да литр кислого вина. Шерамур ел все это сосредоточенно и не обращая ни на кого никакого внимания, пока отвалился и сказал:

– Буде!

С этого у Нето и Шерамура завязалось зна-

комство, которое поддерживалось «жратвою» у Tante Grillade и с каждым днем выводило наружу всё новые странности этого Каинова сына.

Глава шестая

Нето мог определить, что Шерамур был чрезвычайно горд, потому что он был очень застенчив, но понятия о самой гордости у него были удивительные. Так, например, корм он принимал от всякого без малейшего стеснения и без всякой благодарности. Кормить, – это, по его мнению, для каждого было не только долг, но и удовольствие. В том, что его кормят, он не только не усматривал никакого одолжения, но даже находил, что это мало. И действительно – сам он при тех же средствах сделал бы гораздо больше. При тех же средствах он накормил бы несколько человек. Жратва была пункт его помешательства: он о ней думал сытый и голодный, во всякое время – во дни и в ночи.

Приходит он, например, и видит банку с одеколоном. Тотчас намечает ее своим сверкающим взглядом и, показывая на нее пальцем, с презрением спрашивает:

– Это что?

– Одеколон.

– Зачем нужен?

– Обтираюсь им.

– Гм! Обтираетесь. Разве прелое место есть?

– Нет; прелого места нет.

– Так зачем же такая низость!

– Кому же это вредно?

– Еще и спрашиваете: лучше бы сами по-
жрали да другого накормили.

– Пойдемте, – накормлю.

– Что же одного-то кормить... сказали бы,
так я бы еще человек пять позвал.

Другой раз он застаёт на комодe белье,
принесенное прачкою, и опять тычет паль-
цем:

– Чьи рубашки?

– Разумеется, мои.

– Сколько тут?

– Кажется, четыре.

– Зачем столько?

– А по-вашему, сколько рубашек можно
иметь человеку?

– Одну.

– И будто у вас всего одна?

– Нет; у меня ни одной.

– Без шуток, ни одной?

– Какие шутки, мы не такие друзья, чтобы шутить шутки.

С этим он расстегнул блузу и показал нагое тело.

– Вот вам и шутки.

– Возьмите у меня рубашку.

– Могу.

Он взял поданную ему рубашку, пошел за занавес, а оттуда кричит:

– Нож!

– Вы не зарежетесь?

– Это не ваше дело.

– Как не мое дело! Я не хочу, чтобы вы здесь у меня напачкали кровью.

– Эка важность!

– Нет, не режьтесь у меня.

– Не зарежусь – я нынче пожравши.

– Натя вам нож.

Послышался какой-то треск, и что-то шлепнуло.

– Что это вы сделали?

Он вместо ответа выбросил отрезанные от обоих рукавов манжеты и появился сам в блузе, из-под обшлагов которой торчали обрезки беспощадно оборванных рукавов рубашки.

Этак ему казалось лучше, но тоже не надолго, – завтра он явился опять без рубашки и на вопрос: где она? – отвечал:

– Скинул.

– Для какой надобности?

– У другого ничего не было.

Таков он был в бесконечном числе разных проявлений, которые каждого в состоянии были убедить в его полнейшей неспособности ни к какому делу, а еще более возбудить самое сильное недоразумение насчет того: какое он мог сделать политическое преступление? А между тем это-то и было самое интересное. Но Шерамур на этот счет был столь краток, что сказания его казались невероятны. По его словам, вся его история была в том, что он однажды «на двор просился».

Как и что? Это всякого могло удивить, но он очень мало склонен был это пояснять.

– Бунт, – говорит, – был. Мы все, техноложцы, в институт пришли – ворота заперты, не пускают. Мы стали проситься на двор пустить, – пихать начали. Меня взяли.

– Ну а потом?

– А потом – я ушел.

– Зачем?

– Да что же ждать – неизвестно бы куда за-
судили.

И больше ничего не добьетесь, да и сомни-
тельно, есть ли чего добиваться.

До сих пор говорю с чужих слов – теперь
перехожу к личным наблюдениям, которые
были счастливее.

Глава седьмая

Я о нем в мою последнюю поездку за границу слышал еще по дороге – преимущественно в Вене и в Праге, где его знали, и он меня чрезвычайно заинтересовал. Много странных разновидностей этих каиновых детей встречал я на своем веку, но такого экземпляра не видывал. И мне захотелось с ним познакомиться – что было и кстати, так как я ехал с литературною работою, для которой мне был нужен переписчик. Шерамур же, говорят, исполнял эти занятия очень изрядно.

Его адреса никто не знал, но я взял адрес Tante Grillade, и он мне помог. По письму, оставленному в этом кабачке, Шерамур ко мне явился, совершенно таким, каким я его описал выше: маленький, коренастый, с крошечным носиком и огромной бородой Черномора.

Здесь, кстати, замечу, что кличка Шерамур была не что иное, как испорченное на французский лад Черномор, а происхождение этой клички имеет свою причину, о которой будет упомянуто в своем месте.

Я не торопил Шерамура сближением, а просто дал ему работу, и в первый визит он со мною не говорил почти ни слова, а только кивал в знак согласия, но, принеся через три дня назад переписанную тетрадь, разговорился.

– Все ли вы, – спрашиваю, – разобрали в моей рукописи, – не трудно ли было?

– Ничего нет трудного, а только одно трудно понять: зачем вы это пишете?

– Печатать буду.

– Очень нужно.

– Вам это не нравится?

– Не не нравится, а зачем всякую юрунду. (Он именно говорил юрунду.)

– Добрые люди купят, прочтут, посмеются и бросят.

– Ну да; только и всего. Стоит того дело. Могли бы что-нибудь лучше написать.

– Да что лучше-то? – Не умею.

– Ну да; не умеете! Нет, вы, я вижу, не совсем глупый!

– Да не знаю, – говорю, – что же такое надо писать?

– Полезное что-нибудь.

- Например?
- Я ведь не писатель, – что меня спрашивать. Если бы я был писатель, – я бы написал.
- Статью?
- Не знаю, может быть и статью.
- О чем?
- О том, чтобы всем было что жрать, – вот о чем.
- Как же это надо написать?
- Не знаю, – пишут.
- Где?
- Я не знаю; а пишут.
- Да все, – говорю, – мало куда годится.
- Оттого, что не дописывают.
- А отчего не дописывают?
- А черт их знает.
- Ума мало или смелости недостает?
- Да я не знаю.
- Вы революционер?
- Ну вот еще! Жрать всем надо, вот революция. В революцию хорошо, кто большого роста.
- Это почему?
- Потому что маленького никто не слушает.

– А вот Наполеоны-то, – ведь они оба были небольшого роста, а их слушались.

– Так это у французов; они на рост не глядят; а у нас надо, чтоб дылда был и ругаться умел.

– А вы разве этого не можете?

– Нет, не могу.

– А жрать?

Он улыбнулся, но только удивительно странно, сначала одним, а потом другим глазом, точно он не смел сразу обоими улыбнуться, и отвечал:

– Могу.

– Ну, идемте.

И он ходил со мною раз и два, и, наконец, за обычай взял со мною питаться, и освоился до того, что раз сказал:

– А я еще и другую штуку могу.

– Какую?

– Подвыть.

– Как же это?

– Здесь нельзя – страшно.

Я об этом и позабыл, но потом мы с ним как-то пошли за город в Нельи. Это был хороший вечер; мы всё бродили, бродили, сели на

бережку ручья и незаметно осмеркли.

Он так же незаметно от меня отлучился и где-то исчез. Я задумался и совсем про него позабыл, но вдруг вздрогнул и вскочил в ужасном испуге, и было чего: в самом недалеком от меня расстоянии громко и протяжно провыл голодный волк... И прежде чем я мог оправиться, – он завыл снова.

Надо было опомниться, что я всего в двух шагах от Парижа, которого грохот слышен и которого огни отражаются заревом, чтобы понять, как трудно было появиться здесь волку.

И пока я это сообразил, предо мною предстал Шерамур.

– Каково? – говорит.

– Это вы выли?

– Я. Разобрали, в чем дело?

– Какое же дело?

– Слушайте.

И он опять сел на корточки, сложил у рта ладошки и завыл: «Уаа-уаа-уаа».

– Разобрали?

– Нет; но вы действительно воете как настоящий волк.

– Еще бы! Мы, бывало, все этак хором воем.

– Кто, где?

– Техноложцы-то, в Петербурге, когда топить нечем и жрать нечего. Завоем, – хозяйка испужается и даст дров и поплеванник – чтобы замолчали. Ведь это слова.

Он опять опустил на корточки и еще раз завыл, но гораздо протяжнее, и в этот раз в этом вое я разобрал слова:

*Холодно, странничек, холодно;
Голодно, родименький, голодно!*

И мне стало жутко и больно, а он стал рассказывать, как им бывало холодно и как голодно, и как они, вымолив полено дров и «поплеванник», потом разогревались прыгая вокруг пустой комнаты и напевая:

*А лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки,
Ква-ква-ква-ква,
Ква-ква-ква-ква,*

На него, кажется, действовала ночь, звезды и свобода открытого пространства. Он был в духе и в каком-то порыве на откровенность. Я этим воспользовался.

Глава восьмая

— Неужто вам, — говорю, — когда вы так бедствовали, никто не помогал?

— А кто мне станет помогать? со мною всё бедняки жили; все втроем редко жрали.

— Не все же технологи, или, по-вашему, «техноложцы», так бедны.

— Да, у кого есть отцы, — не бедны, разумеется, — им помогали.

— А ваш отец?

— У меня отца не было, — только родитель.

— Какая же тут разница?

— Отец жалеет, а родитель — родит и бросит.

— Кто же был ваш *родитель*?

— Мизантроп.

— Чем он занимался?

— Дворянин — развлекал свою ипохондрию.

— Ну, а мать, разве и она о вас не заботилась?

— Чем ей заботиться? — одна из крепостных девок была.

— Так вы, значит, из податного звания?

— Нет; из благородного, — мизантроп ее за

чиновника выдал.

– Вы всё путаете.

– Ничего не путаю: родитель был один, а отцом другой числился; муж материн в казначействе служил.

– Да вы чью фамилию-то носите?

– Материного мужа.

– Ваша матушка, верно, была очень красива.

– Ну вот... Разумеется, не такая, как я. А у него все равно были всякие: и красивые и некрасивые, и всех замуж выдавал.

– И приданое давал?

– Матери пятьсот рублей дал, за чиновника, а которых за своих – тем не давал.

– Значит, он вашу матушку больше других любил.

– Время такое пришло: эманцыпация. Крепостные не захотели без награждения. А он рассудил, что если с награждением, так уж все равно за благородного. Чиновник и взялся.

– Выходит, вы все-таки счастливее других.

– Не вижу, те наделы получили, а я нет.

– А чиновник вас не обижал, воспитывал?

– Мы у него не жили, он с матерью очень дрался; она назад убежала.

– К мизантропу?

– Да; меня швырнула ему, а сама утопиться хотела. Он нового суда побоялся и взял нас.

– Тут вам хорошо было?

– Ничего не было хорошего: меня к акушерке на воспитание в город отдали.

– Это добрая была женщина?

– Шельма; сама все с землемером кофей пила, а мне жрать не давала. И землемер очень бил.

– Зачем?

– Так; напьется и бьет по головешке. Я оттого и расти перестал – до двенадцати лет совсем не рос. В училище отдали: там начал жрать и стал подниматься. А пуще в пасалтыре морили.

– Что это такое за «пасалтырь»?

– Чулан, – землемер так называл. «Бросить, скажет, его в пасалтырь», – меня и бросят, да и позабудут без корму. А там еще тесно, все стена перед носом, Я от этого пасалтыря и зрение испортил, что все в стенку смотрел. В училище привели – за два шага доски не ви-

дел.

– Вы в каком были училище?

– В гимназии.

– Окончили курс?

– Нет; у меня от битья память глупая.

– А потом?

– В технологию.

– Что же тут, больше учились или больше читали?

– Больше всего опять жрать было нечего, а иногда и читали.

– А что читали?

– Много – не помню.

– Стихи или прозу?

– И стихи и прозу.

– И ничего не помните?

– Одни стихи помню, потому что много списывал их.

– Какие?

– Начало божественное, а потом политическое:

*И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет,
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет.*

- Это – говорю, – «Властителям и судиям».
- Вот, вот, оно самое.
- Зачем же вы его списывали?
- Всем нравилось.
- Да ведь это державинское стихотворение: оно есть печатное.
- Ну, рассказывайте-ка.
- Не верите?
- Разумеется.
- Ну так знайте же, что это переложение псалма, и оно было в хрестоматии, по которой мы, бывало, грамматический разбор делали.
- Ну, а мы не делали.
- Бедняжки.
- Ничего не бедняжки.
- А когда вы окончили свою технологию?
- Я ее не кончал.
- Почему?
- Политическая история помешала.
- А какая же это была история?
- Наши студенты на двор просились.
- Для какой надобности?
- Как для какой надобности? Без двора разве можно? двор заперли, и некуда деться: мы

проситься. Бударь говорит: нельзя на двор – от начальства не велено, а мы его отпихнули, и пошел бунт.

– Верно, прежде была какая-нибудь распря.

– Я тогда не ходил, у меня за ухом юрунда какая-то вспухла, и ее в тот день только распороли.

– Как же вы этим не оправдались?

– А как это оправдаться, стали нас показывать, – бударь на меня говорит: «Вот и этот черномордый тоже на двор просился». Меня отставили, а ему велели изложить. Он говорит: «Я не пуцал, а он, как Спиноза, промеж ног проюркнул». Меня за это арестовали.

– За Спинозу?

– Да.

– Долго же вы были под арестом?

– Нет; я скоро в деревню уехал, – меня графиня выпросила.

Он, к крайнему моему удивлению, назвал одно из самых великосветских имен. Я впервые ему не поверил.

– Почему она вас знала?

– Ничего не знала, а у нас был директор Ермаков, которого все знали, и он был со всеми

знаком, и с этой с графинею. Она прежде жила как все, – экозес танцевала, а потом с одним англичанином познакомилась, и ей захотелось людей исправлять. Ермаков за нас заступался, рассказывал всем, что нас «исправить можно». А она услышала и говорит: «Ах, дайте мне одного – самого несчастного». Меня и послали. Я и идти не хотел, а директор говорит: «Идите – она добрая».

– И что же: вправду так вышло?

– Ничего не правда. Пустили к ней скоро – у нее внизу особый зал был. Там люди какие-то, – всё молились. Потом меня спросила: «Читал ли Евангелие?» Я говорю: «Нет». – «Прочитайте, говорит, и придите». Я прочитал.

– Всё прочитали?

– Всё.

– Что же – понравилось вам?

– Разумеется, мистики много, а то бы ничего: есть много хорошего. Почеркать бы надо по местам...

– Вы так и графине отозвались?

– Не помню, – да ведь еще раньше генерал Дубельт говорил... Я читал об этом, а с графи-

ней... не помню... Все равно она была дура. Она мне долбила все про спасение, только мне спать захотелось, а ничего не понял.

– Что же такое было непонятное?

– «Надо прийти ко Христу». Очень рад, – только как это сделать? Или будто я спасен... Почему я это знаю! Или про кровь там и все этакое: ничего по-настоящему нельзя понять. Я сказал, что я этого не понимаю и мне это не нужно. Она стала сердиться: «Оставим, говорит, до деревни, – вы там поймете». Дорогою хотела меня с собой посадить и читать, а потом во второй класс послала; две девки, я да буфетчик. Мы и поссорились.

– Какое же вам до них дело было?

– Подлости говорят и бесстыдство: я это ненавижу; а потом с мужиком скандал вышел – все и пропало.

Глава девятая

Вот в чем заключался этот эпизод – нелепый, курьезный и отрывочный, как все эпизоды своеобразной эпопеи Шерамура.

– Мы поехали, – начал он. – Графиня сама села в первый класс, и детей и старую гувернантку англичанку тоже там посадили, а две девки и я да буфетчик во втором сели. Буфетчик мне подал билет и говорит:

«Графиня вам тут велела».

Я говорю:

«Мне все равно». А как они стали разные глупости говорить, я и ушел в третий класс к мужикам.

– Какие же такие нестерпимые глупости они говорили?

– Всякие глупости, всё важных из себя передо мною представляли: одна говорит, что ее американский князь соблазнить и увезть хотел, да она отказалась, потому что на пароходе ездить не может, будто бы у нее от колтыханья морская свинка делается. Противно слушать, а на первой станции при нас большая история вышла: мужика возле нашего

вагона бить стали. Я говорю: «За что?» А кондуктор говорит: «Верно, заслуживает». Я самого мужика спросил: за что? а он говорит: «Ничего!» Я подскочил к графине, говорю: «Видите, бесправие!» А она закричала: «Ах, ах!» и окно закрыла. Буфетчик говорит: «Разве можно беспокоить». Я говорю: «Если она христианка, она могла за бедного заступиться». А он: «С какой стати этак можете? – вы ангелист». А я говорю: «А ты дурак». И повздорили. Они и начали про студентов намеки. «Теперь, говорит, все взялись за этот ангелизм. Коим и не стоило звания своего пачкать, и те нынче счета считают. У нас тоже теперь новый правитель – только вступил, сейчас счета стал перемарывать. Зачем, говорит, пельсики пять с полтиной ставить, когда они по два рубля у Юлисеева? – Это воровство». Ах ты дряньюная! Мы при твоём отце не такие счета писали, и ничего, потому что то был настоящий барин: сам пользовался и другим не мешал; а ты вон что!

Девки так и ахают:

«Ишь, подлец! ишь, каналья!»

А тот говорит:

«Ну так я ему сейчас и ввернул, чего он и не думал: „Мало ли что, говорю, у Юлисеева, мы бакалейщика Юлисеева довольно знаем, что это одна лаферма, а продает кто попало, – со всякого звания особ“. – „К чему мне это знать?“ говорит. „А к тому-с, что там все продается для обыкновенной публики, а у нас дом, – мы домового поставщика имеем – у него берем“. – „Вперед, говорит, у Юлисеева брать“. – „Очень хорошо, говорю, только если их сиятельство в каком-нибудь фрукте отравят, так я не буду отвечать“.»

Девки визжат: «Ловко, ловко! Ожегся?»

«Страфил! и весь ангелизм спустил: „Бери, говорит, негодяй, у своего поставщика, а то ты и вправду за три целковых кого угодно отравишь“.»

А девки радостно подхватывают: «Очень просто, что так! – очень просто!» И сами что-то едят, а буфетчик мне очистки предлагает: «У вас, говорит, желудок крепкого характера, – а у меня с фистулой. Кушайте. А если не хотите, мы на бал дешевым студентам за окно выбросим». А потом вдруг все: хи-хи да ха-ха-ха, и: «точно так, как наше к вашему». Я

этого уже слушать не мог и пересел к мужикам.

– Что же вас в этих словах особенно возмутило?

– Ну как же: цинизм: «наше к вашему». – Разве я не понимаю?

– Да я-то, – говорю, – не понимаю: что тут такого особенно циничного.

– Ну оставьте, пожалуйста, – очень это понятно.

– Извольте; оставляю, но все-таки где вы видите цинизм – не понимаю.

– Ну, а я понимаю: я даже в Петербург хотел вернуться и сошел, но только денег не было. Начальник станции велел с другим, поездом в Москву отвезть, а в Петербург, говорит, без билета нельзя. А поезд подходит – опять того знакомого мужика; которого били, ведут и опять наколачивают. Я его узнал, говорю: «За что тебя опять?» А он говорит: «Не твое дело». Я приехал в Москву – в их дом, и все спал, а потом встал, а на дворе уже никого, – говорят: уехали.

– Вас бросили?

– Не взбудили. Я проспал – пошел на стан-

цию за книгами – книги свои взять – и вижу, опять поезд подъехал, и опять того знакомого мужика бьют. Я думаю: вот черт возьми! – и захотел узнать: за что! А он, как его отбили, с платформы соскочил и прямо за ворота, – снял шапку и на все сорок сороков раскрешивается. Я говорю: «Ты бы, дурак, чем башкой по пустякам кивать, – шел бы к мировому». – «А мне чего, говорит, без мирового не достает?» – «Шея-то небось болит?» – «Так что же такое: у нас шея завсегда может болеть, мы мужики: а донес господь – я ему и благодарствую». – «А что били тебя – это ничего?» – «А какая важность, господа лише дрались, да мы терпели – и перетерпели: теперь они и сами обосели – стали смирные». – «Вот от этого, говорю, в тебе и нет человеческой гордости, а ты стал скотина». – «Через что такое, отвечает, скотина, когда я своих родителей знаю». – «Экое, говорю, животное: никаких чувств в тебе нет». А он начал сердиться: «Что ты, говорит, ко мне вяжешься: какое еще чувство, если мне так надобе». – «Отчего же это так надобе, чтобы тебя на всякой станции били?» – «Ан совсем, говорит, не на всякой». – «Я, гово-

рю, видел». – «А мне, говорит, это еще лучше тебя известно: всего четыре раза за путину похлопали, только на больших станциях, где билет проверяют. Какое же тут чувство? потолкают и вон, а я на другой поездок сяду, да вот бог дал, ничего не платя и доехал». Понимаете, какой отличный народ! Я его практическому смыслу подивился, и как у меня полтора рубля было, я ему помочь хотел. «Дальше, спрашиваю, куда-нибудь поедешь?» – «Дальше мне теперь все равно что рукой подать – всего в Тульскую губернию: мы с Москвой-то суседи». – «А все же ведь и тут опять чугушка». – «Простое дело, что чугушка». – «Так опять деньги надо». Он посмотрел и говорит: «Это не твое расположение». – «Да у тебя есть деньги или нет?» – «С чего так нет: мы мужики, а не то что, – мы работаем, а не крадем, чтобы у нас не было. У нас что надобе есть». – «А то лучше, говорю, признайся: я тебе дам». – «Нам чужого не надо: у нас вот они свои, кровные». Вытащил кошель и хвалится: «Видишь, говорит, что есть названье от бога родитель, – вот я родитель: я побои претерпел, а на билет ничего не извел – без билета

доехал. Все, что заработал, – вот все одно цело – деткам везу; а еще захочу, так и в церкву дам за свое здоровье. Понимаешь?» – «Глупо, говорю, в церковь давать». – «Ну, этого говорить не смей, а то вот что...» И кулак мне к носу. – Что за народ! что за народ! – воскликнул Шерамур и даже впотьмах весь расцвятился. – Я, – говорит, – не вытерпел: «Молодец, говорю, пойдем, я тебя угощу в трактире». А он сейчас кошель скорей прятать и стал уходить. Я за ним, а он от меня еще шибче, шибче, да на углу хлоп, упал и растянулся. «Чего ты, говорю, дурак, бежишь?» – «А ты чего, говорит, меня гонишь: я ведь твоего не прошу». – «Чего же ты меня боишься?» – «Ты деньги увидал и скрасть хочешь», и с этим как дернет во всю мочь: «Каррраул!» Нас обоих и забрали.

– Куда?

– В часть.

– Выпустили?

– Да; на другой день пристав приехал, спросил обо мне и послал к графине: действительно ли я с нею? Оттуда дворник их знакомого художника прислал, тот поручился, ме-

ня и отпустили. А у мужика там, в части, рубль пропал. Он после сказал мне: «Это твоя вина, – я за тебя заключался, – ты должен мне воротить», – я отдал...

– Вы, значит, на него не сердились?

– Нет, да ведь он умен, он мне сказал: «Я бы, говорит, от тебя и не бежал, да боялся, что у тебя вумственные книжки есть. А то, сделай милость, буду на угощении благодарен». Чай с ним вместе пили. Отличный мужик. «А если еще остача есть, говорит, купи моим деткам пряничного конька да рыбинку. Я свезу – скажу: дядька прислал, – детки малые рады будут». Хороший мужик. Мы поцеловались.

– Значит он вас до грошика обобрал?

– Я сам отдал.

– А зачем?

– Отдал, да и все.

– А сами куда и с чем пошли?

Шерамур только рукой махнул.

– Тут, говорит, – у меня началась самая тяжкая пора, я едва рассудок не потерял.

– Отчего же собственно?

– От ужасного божества... беда что такое было.

– Верно, опять графиня?

– Да; и другие, – если бы англичанка моего этого спасения верою не подкургузила, так я погиб бы от святости.

– Валяйте, валяйте, – говорю, – разве можно на таком интересном месте останавливаться: сказывайте, что такое было?

Глава десятая

В московском доме графини, где она провела сутки и уехала далее, по-видимому совсем позабыв о Шерамуре и не сделав на его счет никаких распоряжений, он нашел того профессора живописи, который за него поручился.

Это был единственный человек, к которому наш герой мог обратиться в своем положении. Он так и сделал. Считая имена недостойными человеческого внимания пустяками, Шерамур не знал, как звали художника, но, по его словам, это был человек пожилой и больной. Он жил со своим семейством, занимаемая один из флигелей в доме графа, который считал себя покровителем какого-то московского художественного учреждения. Остальной дом был пуст и оберегался одним старым лакеем. Лакей этот питал какие-то особенные чувства к профессору и свел к нему Шерамура. Тот выслушал чудака и говорит:

– По-моему, вам не стоит за графиней ехать.

– Я, – говорит Шерамур, – спросил, отчего?

А он не отвечает. Большущее что-то пишет и все помазикает кистями и отскочит: высматривает.

«Я, – говорит, – не советую... – И опять мазикает. – Графиня, я думаю... вами тяготится».

«Сама, – говорю, – пригласила».

«Это ничего. – И опять помазикал, отскочил и смотрит в кулак на картину, и говорит: – Это ей все равно; они люди, особенные, у них это ничего-с».

И еще помазикал, помазикал, а потом положил свои снасти, закурил трубочку и сел против картины.

«Вы, – спрашивает, – „Эмиля“ Руссо читали?»

«Не читал, а слышал: опыт какой-то делали – воспитать человека».

«Вот, вот, вот! – вот и вы на этот опыт взяты: вы лучше удирайте».

«А что она мне сделает?»

«Да нехорошо, – говорит, – с ними возиться. Ведь ей делать нечего – вот ее забота. Ее отец, бывало, для собственной потехи все лечил собственных людей, а эта от нечего делать для своей потехи всех ко спасению зо-

вет. Только жаль – собственных людей у них теперь нет, все искать надо, чтобы одной перед другой похвастать: какая кого на свою веру поймала. Всякая дрянь нынче из этою глупостью потехою пользуется: „я, дескать, уверовал – дайте поесть“, а вы студент, – вам это стыдно».

Я говорю:

«Мне это все равно, – я религии не признаю; а если можете пять рублей мне занять, так я поеду, потому что она мне сулила дать школу».

Он говорит:

– Натя вам пять рублей, а школы она вам не даст, а если даст, так вас оттуда скоро выгонит.

А когда я хотел расспросить, отчего не даст? – Он вдруг закашлялся и говорит:

«Ну вас совсем! Если вы такой бестолковый, – ступайте куда хотите: у меня чахотка; а вы... ничего не понимаете».

Шерамур взял пять рублей и отправился к месту своего призвания, где его осетили трагикомические случайности, которые имели на него роковое влияние и довели его до эми-

грации.

Глава одиннадцатая

Во-первых, его не ждали и, как художник отгадал, – не желали видеть в имении, куда он явился не то педагогом, не то Эмилем. Встречен он был сухо, как человек никому не нужный; даже помещения ему не дали, и благодетельницы своей графини он не видал. В этом, по его словам, был виноват тот же враг студентов, буфетчик, способный за три целковых отравить кого угодно. Он сбыл Шерамура сначала в чулан при конторе, а потом в каморку при прачечной. У его выломанного порога была ямина, а под окном зольная куча, на которую выбрасывали из кухни всякую нечисть, и тут, как говорил Шерамур, постоянно «ходили пешком три вороны и чьи-то птичьи кишки таскали». В самой же храмине здесь была такая жара и духота, что Шерамур, к великому своему удивлению и благополучию, – тяжело заболел: у него сделался карбункул, который он называл: злой чирей. Ему не дали умереть и прислали к нему фельдшера – молодого еврея, который здесь тоже был и врачом и религиозным Эмилем: графиня его

второй год воспитывала к христианству. Главный труд обращения его уже был окончен, и по осени он назначался на короткое время на выставку в религиозные салоны Петербурга, а оттуда к отсылке за границу для крещения по наилучшему образцу какой-то из неизвестных сект. Еврей был такой же горький человек, как Шерамур, – он был вырван из солдатчины благодаря тому, что решился оказать склонность к христианству. Он уже второй год жил здесь неизвестно по какому праву и, чувствуя свое рискованное положение, пел стишки и читал «трактатцы», – но он был, разумеется, гораздо находчивее Шерамура и сделал ему важную услугу – спас ему жизнь.

Шерамур лежал без всякого присмотра – его дверь часто некому было затворить, и вороны заходили к нему пешком даже в самую комнату, но фельдшер нашел, что случай этот достоин иного внимания. Он доложил о больном графине и удостоверил ее, что болезнь опасна, но не заразительна. Он знал, что это был для нее бенефисный случай: она сейчас же пришла с книжечками и флаконом разве-

денной водою мадеры и читала Шерамуру о спасении верою. Он ничего не понял, а она ушла, оставив ему трактатцы, но флакон унесла. Еврей ему сделал выговор:

– Что вам такого, – говорит, – понимать, – спросит: «погиб?» – говорите; «погиб», – а если «спасен», так «спасен».

– А что это значит? – добивался Шерамур.

– Ничего не значит, – один разговор, а за то вам будут хорошую пищу присылать и мадеры, – а вы еще слабы. – Он взял оставленные трактатцы, посмотрел и говорит: – Вот по этой погиб, а по этой спасен. Я скажу, что вы читали и пошли на спасенье.

Прием оказался хорош. В тот день Шерамуру, наперекор всем проискам буфетчика, прислали супу и котлет, а после обеда пришла графиня и принесла новых трактатцев и флакон. Еврей сказал, что больной слаб, и графиня его не утруждала; она спросила его только: «Видите, что вы погибли...» Он отвечал: «Погиб». Она стала на колени и долго молилась. Шерамур из всей молитвы запомнил только: «еще молим тебя, господи, и еще молим тебя». Она спросила: имеет ли он сколько-нибудь

Христа? Он поморщился, но сказал: «Немножко имею». Она еще помолилась, а потом ушла, но флакон оставила. С тех пор его стали отлично кормить, и графиня к нему приходила с трактатцами и флаконом, а также приводила раза два англичанку, и обе возле него молились. Он вел себя, как учил еврей: но все путал, говорил то «погиб», то имеет Христа.

Еврей заметил по своим приметам, что это долго стоит на лизисе, – вскрыл Шерамуру нарыв и сказал: «Ну, теперь скажите: „спасен“.» Шерамур так и сделал. Он был «спасен», графиня утешалась; она приобрела Христу первого нигилиста и велела Шерамуру по выздоровлении приходить к ней, чтобы петь с верными и учить детей писать и закону божию. И как с этих пор лично ей он уже был неинтересен, то она его бросила, а буфетчик опять стал ему посылать вместо «куричьего супу» – «свинячьи котлеты» и вместо «кокайского вина» – «подмადерный херес». Продолжали навещать Шерамура только фельдшер да англичанка, которая в эту пору и явилась изобретательницею его нынешней клички. Графиня при первом взгляде на него назвала его «Чер-

номер» – что ему и очень шло, графинины горничные сделали из этого «черномордый», – но и это было кстати, а англичанка по-своему все перековеркала в «Шерамур». Однако, впрочем, и это тоже имело свою статью, хотя в смысле иронии.

Впрочем, началось это без иронии. Никому не благодарный и ни на кого не жаловавшийся, Шерамур при воспоминании об этой даме морщил брови.

– С губкою, – говорит, – все приходила, и с теплой водичкой, – чирей размывать. Я сяду на край кровати, а она стоит, – на затылке мне мочит, а лицо мое себе в грудь прижмет – ужасно неприятно; она полная и как зажмет лицо, совсем дышать нельзя, а она еще такие вопросы предлагает, что видно, какая дура.

– Какие же вопросы, Шерамур?

– «Приятно ли?» – «Разумеется, говорю, от теплой воды хорошо, а дышать трудно». Или: «Ти ни о чем не дюмаешь?» Говорю: «О чем мне думать?» – «А ти, говорит, дюмай, ти дюмай!» После было выдумала еще мне лицо губкой обтирать, но это я сразу отбил – говорю: «Уж это, пожалуйста, не надо; у меня

здесь не болит».

– Да она, верно, в вас влюбилась?

– Ну вот еще! Просто дура.

– А чем же у вас с нею все кончилось?

– Еще что скажете!

– А что?

– Да никогда ничего и не начиналось; а просто как я выздоровел и сунулся в это боже-ство – сейчас пошли отовсюду неприятности.

– Вы не умели петь или не умели препода-вать?

– Я не пел, а там чай с молоком давали, так я просто ходил сидеть, чтоб чаю дали.

– Вам не нравилось, как графиня говорит?

– Глупости.

– Однако хуже попов или лучше, толковее?

– У попов труднее.

– Чем?

– У них, как тот мужик говорил, «вумствен-нее» – они подите-ка какие вопросы закаты-вают.

– Я, – говорю, – не знаю, о чем вы говорите.

– Ко мне раз поп пришел, когда я ребят учу: «Ну, говорит, отвечай, что хранилось в ковчеге завета!» Мальчик говорит: «расцвет-

ший жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи». – «А что на скрыжах?» – «Заповеди», – и все отвечал. А поп вдруг говорил, говорил о чем-то и спрашивает: «А почему сие важно в-пятых?» Мальчонка не знает, и я не знаю: почему сие важно в-пятых. Он говорит: «Детки! вот каков ваш наставник – сам не знает: почему сие важно в-пятых?» Все и стали смеяться.

– Ученики ваши?

– Ребятишки отцам рассказали: «Учитель, мол, питерский, а не знает: почему сие важно в-пятых? Батюшка спросил, а он и ничего». А отцы и рады: «какой это, подхватили, учитель, это – дурак. Мы детей к нему не пустим, а к графинюшке пустим: если покосец даст покосить – пусть тогда ребятки к ней ходят, поют, ништо, худого нет». Я так и остался.

– Ни при чем?

– Да, так ходил, думал до осени, но тут... подвернулось...

– Новая история?

– Да, из-за пустого лакомства.

Понятно, нетерпение знать: как и какая сладость сей жизни соблазнила Шерамура?

Почему сие было важно в-пятых?

Дело это содержалось в англичанке.

Глава двенадцатая

Пожилая дама, о которой заходит речь, была особа, описания которых не терпит английская литература, но которых зато с любовью разрабатывает французская. Смелейшие из английских писателей едва касаются одной стороны – их ипокритства, но Тэн обнаружил и другие свойства этих тартюфок. Их вкус мало разборчив, их выбор падает на то, что менее афиширует. В большинстве случаев это бывает собственный кучер или собственный лакей. Внешняя фешионабельность и гадкая связь идут, ничего не нарушая и ничему не препятствуя. Если нет собственного кучера и лакея, тогда хорош и католический монах. Эти лица пользуются очень хорошою репутациею во многих отношениях, особенно со стороны скромности. Вообще английский культ дорожит в таких обстоятельствах скромностью субъекта и таким его положением, которое исключало бы всякое подозрение. Шерамур был в этом роде. Но тут дело было несколько лучше: по тонким навыкам старой эксцентрички Шерамур ей даже нравился.

Она была свободна от русских предрассудков и не смотрела на него презрительными глазами, какими глядела «мизантропка», опрокидывающая свою ипохондрию, или ее камеристки, этот безвкусеиший род женщин в целой вселенной. Крепкий, кругленький, точно выточенный торс маленького Шерамура, его античные ручки, огневые черные глаза и неимоверно сильная растительность, выражавшаяся смолевыми кудрями и волнистою бородою, производили на нее впечатление сколько томное, столько же и беспокоящее. Он представлялся ей маленьким гномом, который покинул темные недра гор, чтобы изведать привязанность, – и это ничего, что он мал, но он крепок, как молодой осленок, о котором в библии так хорошо, рассказано, как упруги его ноги и силен его хребет как бодро он несется и как неутомимо прыгает. Она знала в этом толк. Притом он был franc novice[3] – это возбуждало ее опытное любопытство, и, наконец, он молчалив и совершенно не подозрителен.

И вот мало-помалу, приучив его к себе во время его болезни, англичанка не оставляла

его своим вниманием и тогда, когда он очутился без дела без призора за то, что не знал: «почему сие важно в-пятых?»

Она была терпеливее графини и не покидала Шерамура, а как это делалось на основании какого-то текста то графиня не находила этого нимало странным. Напротив: это было именно как следует, – потому что *они* не так как мы примемся да и бросим, а *они* до конца держатся правила: *fais ce que tu dois*. [4]

И та действительно держалась этого правила: она учила Шерамура по-французски, употребляла его для переписки «стишков» и «трактатцев» и часто его подкармливала, спрашивая на его долю котлетку или давая ему каштаны или фисташки, которые он любил и ел презабавно, как обезьяна.

Все это шло в своем порядке, пока не пришло к развязке, самой неожиданной, но вполне соответственной дарованиям и такту Шерамура. Но это замечательнейшее из его приключений нельзя излагать в моих сокращениях оно должно быть передано в дословной форме его собственного рассказа, насколько он сохранился в моей памяти.

– Она, – говорит Шерамур, – раз взяла меня за бороду, и зубами заскрипела. Я говорю: «Чего это вы?»

«Приходи ко мне в окно, когда все уснут».

Я говорю:

«Зачем?»

«Я, – говорит, – тебе сладости дам».

«Какой?»

Она говорит:

«Кис-ме-квик».

Я говорю:

«Это пряник?»

Она говорит:

«Увидишь».

Я и полез. Из сада невысоко: она руку спустила и меня вздернула.

«Иди, – говорит, – за ширмы, чтобы тень не видали».

А там, за ширмой, серебряный поднос и две бутылочки: одна губастая, а одна такая.

Она спрашивает:

«Чего хочешь: коньяк или шартрез?»

«Мне, – говорю, – все равно».

«Пей что больше любишь».

«Да мне все равно, – а вот зачем вы так

разодеты?»

«А что такое?»

«То, – говорю, – что мне совестно – ведь вы не статуя, чтоб много видно».

– А она, – вмешиваюсь, – как была разодета?

– Как! скверно, совсем вполодета, рукава с фибрами и декольте до самых пор, везде тело видно.

– Хорошее тело?

– Ну вот, я будто знаю? Мерзость... по всем местам везде духами набрыськано и пудрой приляпано... как лишаи... «Зачем, говорю, так набрыськались, что дышать неприятно?»

«Ты, – говорит, – глупый мальчик, не понимаешь: я тебя сейчас самого набрыськаю», – и стала через рожок дуть.

Я говорю:

«Оставьте, а то уйду».

Она дуть перестала, а вместо того мокрую губку с одеколоном мне прямо в лицо.

«Это, – говорю, – еще что за подлость!»

«Ничего, – говорит, – надо... личико чисто делать».

«А, – говорю, – если так, то прощайте!» –

Выскочил из-за ширмы, а она за мною, стали бегать, что-то повалили; она испугалась, а я за окно и спрыгнул.

– Только всего и было с англичанкой?

– Ну, понятно. А буфетчик из этого вывел, что я будто духи красть лазил.

– Как духи красть? Отчего он это мог вывести?

– Оттого, что когда поймал, от меня пахло. Понимаете?

– Ничего не понимаю: кто вас поймал?

– Буфетчик.

– Где?

– Под самым окном: как я выпал, он и поймал.

– Ну-с!

– Начал кричать: «энгелиста поймал!» Тут, разумеется, люди в контору... стали графу писать: «пойман нигилист».

– Как же вы себя держали?

– Никак не держал – сидел а конторе.

– Сказали, однако, что-нибудь в свое оправдание?

– Что говорить – от нигилиста какие оправдания.

– Ну, а далее?

– Убежал за границу.

– Из-за этого?

– Нет; поп подбавил: когда графиня его звала сочинять, что нигилисты в дом врываются и чтобы скорее становой приезжал, поп что-то приписал, будто я не признаю: «почему сие важно в-пятых?» Фельдшер это узнал и говорит мне: что это такое – «почему сие важно в-пятых?»

Я говорю: «Не знаю».

«Может быть, это чего вышнего касается? Вам теперь лучше бежать».

Я и побежал.

Глава тринадцатая

Как он бежал? – это тоже интересно.

– Пешком, – говорит, – до самой Москвы пер, даже на подметках мозоли стали. Пошел к живописцу, чтобы сказать, что пять рублей не принес, а ухожу, а он совсем умирает, – с кровати не вставал; выслушал, что было, и хотел смеяться, но поманул и из-под подушки двадцать рублей дал. Я спросил: «На что?» А он нагнул к уху и без голоса шепнул:

«Ступайте!»

С этим я ушел.

– Куда же?

– В Женевку.

– Там были рады вам?

– Ругать стали. Говорят: «У англичанки, верно, деньги были, – а вы – этого не умели? Дурак вы».

– Неужто даже не приютили?

– Ничего не приютили: я им не годился, – говорят: «вы очень форменный, – нам надо потаенные».

– Тогда вы сюда?

– Да: здесь вежливо.

Он сказал это с таким облегченным сердцем, что даже мне легко стало. Я чувствовал, что здесь – *период*; что здесь замысловатая история Шерамура распадается, и можно отдохнуть.

Я его спросил только: уверен ли он, что ему в России угрожала какая-нибудь опасность? Но он пожал плечами, потянул носом, вздохнул и коротко отвечал:

– Все же уйти – безопаснее.

Мы встали с края оврага, в котором Шерамур начал волчьим вытьем, а кончил божеством. Пора было вернуться в Париж – дать Шерамуру жрать.

Глава четырнадцатая

Если бы я не имел перед собой примера «старца Погодина», как он скорбел и плакал о некоем блуждавшем на чужбине соотчиче, то я едва ли бы решился сознаться в неодобрительном поступке: мне было жаль Шерамура, и я даже положил себе им заняться и довести его до какого-нибудь предела. Словом: я вел себя совсем как Погодин. Разбирая рапсодии Шерамура, я готов был иногда подозревать его в сумасшествии, но он не был сумасшедший; другой раз мне казалось, что он ленивый негодяй и дармоед, но и это не так; он всегда ищет работы, и что вы ему поручите, – он сделает. Не плут он уже ни в каком случае, – он даже несомненно честен. Он так, какой-то заморух: точно цыпленок, который еще в яйце зачичкался. Таких самые сердобольные хозяйки, как только заметят, – обыкновенно «притюкивают» по головешке и выбросят, – и это очень милостиво; но Шерамур был не куриный выводок, а человек. Родись он в селе, его бы считали «ледащенским», но приставили бы к ответственному

делу – стадо пасти или гусей стогнать, и он все-таки пропитался бы и даже не был бы в тягость; но среди культурного общества – он никуда не годился.

Однако все-таки его лучше увезть в Россию, где хоть сытнее и много дармоедов не умирает с голоду. Поэтому самое важное было дознаться, тяготит ли над ним какое обвинение и нельзя ли ему помочь оправдаться?

Но как за это взяться? К счастью, однако, явился такой случай. Но прежде, чем дойти до него, надо сказать два слова о том, как Шерамур жил в Париже.

Глава пятнадцатая

С первого дня своего прибытия в Париж он был так же обеспечен, как нынче. *Никогда* у него не было ни определенного жительства, ни постоянных занятий. Он иногда что-то зарабатывал,нося что-то в гаре, иногда катал какие-то бревна. Что ему за это платили – не знаю, но знаю, что иметь столько денег, чтобы пообедать за восемьдесят сантимов и выспаться в ночлежном доме, – это было его высшее благополучие. В большинстве же случаев у него не было никакой работы, тем более что, перекатывая бревна, он сломал ногу, а от носки тяжестей протирал свои очень хорошенькие дамские плечи, пленившие англичанку. Очевидно, в работе у него ни на что не доставало сноровки. Отдыхал же он днем и ночью на бульварах. Это трудно, но можно в Париже, а по привычке Шерамуру даже не казалось трудно.

– Я, – говорил он, – ловко спать могу. То есть, он мог спать сидя на лавочке, так, чтобы этого не заметил *sergent de ville*. [5]

– А если он вас заметит?

– Я на другую иду.

– Ведь и с другой сгонят?

– Не скоро, – с полчаса можно поспать. Надо только переходить на ту сторону, откуда он идет.

Но теперь обращаемся к *случаю*.

Раз, выйдя из русской церкви, я встретился в парке Монсо с моею давнею знакомою, г-жою Т. Мы сидели на скамеечке и говорили о тех, кого знали и которых теперь хотелось вспомнить. А нам было о ком побеседовать, так как знакомство наше с этою дамою началось еще во дни восторгов, пробужденных псковскою историею Гемпеля с Якушкиным и тверскою эпопеею «пяти дворян». Мы вместе перегорали в этих трепетаниях – потом разбились: она, тогда еще молодая дама с именем и обеспеченным состоянием, переселилась на житье в Париж, а я – мелкая литературная сошка, остался на родине испытывать тоску за различные мои грехи, и всего более за то, чего во мне никогда не было, то есть за какое-то *направление*.

С тех пор минуло без малого четверть столетия, и многое изменилось – одних не стало,

другие очутились слишком далеко, а мы, которых здесь свел случай после долгой разлуки, могли не без интереса подвергнуть друг друга проверкам: что в ком из нас испарилось, что осталось и во что переложилось и окрасилось. Она в это время видела больше меня людей интересных, и притом таких, о которых я имел только одни книжные понятия. В дни ее отъезда я помню, что она горела одним постоянным и ни на минуту не охлажденным желанием стать близко к Гарибальди и к Герцену. О первом она писала, что ездила на Капреру, но Гарибальди ей не понравился: он не чуждался женского пола, но относился к дамам слишком реально. Он ей показался лучше издали, но почему и как – я ее о том не расспрашивал. Герцен тоже не выдержал критики: он сделался под старость «не интересен как тайный советник» и очень капризен и придирчив. Дама весьма хорошо умела представлять, как она краснела за него в одном женевском ресторане – где он при множестве туристов «вел возмутительную сцену с горчицей» за то, что ему подали не такую горчицу. Он был подвязан под горло

салфеткою и кипятился совершенно как русский помещик. Все даже оборачивались... И это был тот, чьи остроумные клички и прозвища так смешили либеральный Петербург шестидесятых годов! Это невозможно было снести: дама махнула рукой на подвязанного салфеткой старца и даже в виде легкой иронии отыгралась с ним на его же картах: она называла его «салфеточным». Затем ее внимание занимали Клячко, Лангевич, Пустовойтова, наконец, папа Пий IX, от которого она тогда только что возвратилась и была в восторге по причине его «божественного лица».

– Кротость, ласковость и... какое обхождение, – говорила она, – всякому он что-нибудь... Пусть его бранят, что он выдумал непогрешимость и зачатие, но какое мне дело! Это все в догматах... Боже мой! кто тут что-нибудь разберет, а не все ли равно, как кто верит. Но какая прелесть... В одном представлении было много русских: один знакомый профессор с двумя женами, то есть с законной и с романтической, – и купец из Риги, раскольник, – лечиться ездил с дочерью, девушкою... Всех приняли – только раскольнику велели фрак

надеть. Старик никогда фрака не надевал, но купил и во фраке пришел... И он со всеми, со всеми умел заговорить – с нами по-французски, а раскольнику через переводчика напомнил что-то такое, будто они государю говорили, что «в его новизнах есть старизна», или «старина». Говорят – это действительно так было. Раскольник даже зарыдал: «Батюшка, говорит, откуда износишь сие, отколь тебе все ведомо?» – упал в ноги и вставать не хочет. «Старина, старина», говорит... Мне это нравится: с одной стороны находчивость, с другой простота... Здесь теперь в моде Берсье: он изменил католичеству, сделался пастором и всё против папы... Я и его не осуждаю – у него талант, но он не прав, и я ему прямо говорю: вы не правы; папу надо видеть; надо на него глядеть без предубеждения, потому что с предубеждением все может показаться дурно, – а без предубеждения...

Но только что она это высказала, – на повороте аллеи как из земли вылупился Шерамур – и какой, – в каком виде и убранстве! Шершавый, всклоченный, тощий, весь в пыли, как выскочивший из-под грязной зас-

трехи кот, с желтым листом в своей нечесанной бороде и прорехами на блузе и на обоих коленях.

При появлении его я просто вздрогнул, перервал оживленный рассказ моей дамы и, пользуясь правами короткого знакомства, взял ее за руку и шепнул:

– А вот посмотрите-ка без предубеждения.

– На кого? Вот на этого монстра?

– Да; я после расскажу вам, какое под этим заглавием содержание.

Она прищурилась, рассмотрела и... тоже вздрогнула.

– Это ужасно! – прошептала она вслед Шерамуру, когда он минул нас, не удостоив не единого взгляда, с понурою, совершенно падающею головою. Надо было думать, что нынешнюю ночь, а может быть и несколько ночей кряду, его мало пожалел sergent de ville.

Моя дама схватилась за карман, достала портмоне и, вынимая оттуда десять франков, сказала:

– Вы можете ему передать это?..

– О, да, – говорю, – с удовольствием. Но, позвольте, вот что мне пришло в голову: вы

ведь, верно, знакомы с кем-нибудь из здешних наших дипломатов?

– Еще бы – даже очень дружески.

– Помогите же этому бедняку.

– В чем?

– Надо узнать: преступник он или нет?

– Охотно, только если они знают. Но они, кажется, о русских никогда ничего не знают.

– Они, – говорю, – могут узнать.

Она вызвалась поговорить с одним из близких ей людей в посольстве и через два дня пишет мне, чтобы я прислал к ней Шерамура: она хотела дать ему рекомендательную карточку, с которой тот должен пойти к г. N.N. Это был видный чиновник посольства, который обещал принять и выслушать Шерамура, и если можно, помочь ему очистить возвратный путь в отечество.

– А тогда, – прибавила дама, – я беру на себя собрать ему средства на дорогу, буду просить в Петербурге... – и проч., и проч.

Думаю, чего же еще лучше надо?

Передаю все это Шерамуру и спрашиваю:

– Что вы на это скажете?

– Да я, – отвечает, – не понимаю: зачем это?

– Вы разве не хотите в Россию?

– Нет; отчего же – могу; там пищеварение лучше.

– Так идите к этой даме.

– Хорошо. Она дура?

– С какой же стати она будет дураю?

– Аристократка.

– А они разве все дураки?

– Да я не знаю, я так спросил: какая она?

– Это вам все равно, какая она, – она очень добрая, принимает в вас участие и в силах вам помочь, как никто другой. Вот все, что вам достаточно знать и идти.

– И ничего из этого не будет.

– Почему не будет?

– Ведь я сказал.

– Нет, не сказали.

– Аристократка.

– Так вы не пойдете?

Он помолчал, поводит носом и протянул:

– Ну, черт с ней, – пожалуй, схожу.

Он это делал совершенным *grande signore* [6] – чтобы отвязаться. Ну да и то слава богу, что хоть мало на лад идет. Моя знакомая женщина с душою – она его поймет и на его неве-

жество не обидится.

Другое дело – как он аттестует себя в самом посольстве перед русским дипломатом, которого чувства, конечно, тоньше и который, по уставам своего уряда, «по поступкам поступает», а не по движению сердца.

Глава шестнадцатая

Я ждал развязки дипломатических свиданий Шерамура с нетерпением, тем более что все это затеялось накануне моего отъезда, и вот мне не терпится: вечером в тот день, как он должен был представиться своей патронессе, я еду к ней и не могу отгадать: что застаю? Но застаю ее очень веселую и довольную.

– Ваш Шерамур, – говорит, – презабавное существо. Как он ест! – как звереныш.

– Вы его кормили?

– Да; я его брала с собой...

– Вот как, я всегда знал, что у вас предоброе сердце, но это еще шаг вперед.

– Отчего?

– Оборвыш он этакой, а вы его водили и вместе обедали.

– Ах, это-то! ну полноте, ведь здесь не Россия. Не беспокойтесь меня хвалить: в Петербурге я бы этого ни за что не сделала, а здесь что же такое... Я такая, как все, и могу делать, что хочу. Гарсоны на него только всё удивлялись. Я им сказала, что это дикий из русской

Сибири, и они его всё рассматривали и были к нему очень вежливы. А кстати: вы заметили, как он кости грызет?

– Нет, – говорю, – что-то не заметил.

– Ах, это прелестно: он их грызет, как будто какую-нибудь жареную вермишель, и чавкает, как поросенок.

– Да, – говорю, – насчет изящества с ним нужна снисходительность.

Но она и приняла это снисходительно и даже рассказала оставшийся у меня в памяти анекдот о другом, еще более противном способе обращаться с костями. Дело шло об одном ее великосветском кузене Вово и состояло в том, что этот кузен, русский консерватор, удостоясь чести кушать за особым столиком с некоторою принцессою, ощутил неодолимое желание показать, как он чтит этот счастливый случай. Он остановил лакея, убиравшего тарелку с косточками птички, которую скушала принцесса, выбрал из них две или три, завернул в свой белый платок и сказал, что делает это с тем, чтобы «сберечь их как святыню». Но, к сожалению, все это было дурно принято: принцесса обиделась такою грубо-

стью, и кузен Вово лишился вперед приглашений. Дама называла это «русским велико-светским бебеизмом», который ставила без сравнения ниже шерамурова чавканья, – а я ее не оспаривал.

– Конечно, – говорю, – такой неделикатности Шерамур не сделает, но вот меня интересует: как он поведет себя с дипломатом? Предупредили ли вы того: какой это экземпляр?

– Как же – я все сказала.

– Ну, и что же он?

– Очень смеялся.

Я покачал головою и сомнительно спросил:

– Зачем же он очень смеялся?

– А что?

– Да так... Зачем это они все нынче любят очень смеяться, когда слышат о страдающих людях. Лучше бы *немножко* посмеяться и *больше* о них подумать.

И она вздохнула и говорит:

– Правда, правда, правда.

– А когда, – спрашиваю, – их rendez-vous?[7]

– Завтра.

– Ну, хорошо. А Шерамуру вы не дали ни-

какого наставления, как ему себя держать?

– Нет.

– Это очень жаль.

– Да не могла, – говорит, – он так скоро убежал, что мы и не простились.

– Отчего же так?

– Не знаю; должна была на минуту выйти и предложила ему почитать книгу, а когда пришла опять в комнату, – его уже не было; девушка говорит: швырнул книгу и убежал, как будто за ним дьявол гнался.

– Что за чудак!

– Да.

– Что же это может значить?

– Я вас могла бы об этом спросить, вы его больше знаете.

– Так, – говорю, – но надо знать; что перед этим было?

– Перед этим? – перед этим он съел довольно много омлета с малиной.

– А, – говорю, – это тоже не шутка.

И мы оба, казалось нам, *поняли* и рассмеялись.

– Но, впрочем, – добавила она, – я надеюсь, что все будет хорошо.

А я, признаться, на это не надеялся, хотя сам не знал, почему все добрые надежды на его счет были мне чужды.

Затем, следующий день я правел в беготне и в сборах и не видал Шерамура. Консьерж говорил, что он приходил, узнал, что меня нет дома, и ушел, что-то написав на притолке.

Я долго разбирал и прочитал нечто несообразное и не отвечавшее главному интересу минуты. Надпись гласила: «Оставьте мне пузырянку глазных капель, что помогают от зубной боли».

Я знал, что он один раз, когда у него болели зубы, взял в рот бывшие у меня глазные капли и тотчас исцелел. Это меня тогда удивило и насмешило, и я отдал консьержу «пузырянку», чтобы передал Шерамуру, если он не застанет меня дома. Но он не приходил за глазными каплями – вероятно, зубы его прошли сами собою.

На следующий день он не явился, и еще день его тоже не было, а потом уже наступил и день моего отъезда. Шерамур как в воду канул.

Я был в затруднении; мне чрезвычайно хо-

телось знать: чем его бог через добрых людей обрадовал, но Шерамура нет и нет – как сквозь землю провалился.

Хоть неловко было докучать моей даме после прощания, но я урвал минутку и еду к ней, чтобы узнать: не был ли у ней мой несмысль или не слыхала ли о нем чего-нибудь от того, к кому его посылала.

Приезжаю и не застаю ее дома: говорят, она на целую неделю уехала к приятельнице за Сен-Клу.

Конечно, больше искать слухов было негде, и я помирился с той мыслью, что, вероятно, так завтра и уеду, ничего не узнав о Шерамура. А потом, думаю, он, пожалуй, так и затеряется, и в сознании моем о нем останется какой-то рассучившийся обрывок... Будет и жалко и досадно всю жизнь воображать, что он по-прежнему все голоден и холоден и блуждает от одной скамьи до другой, не имея где выспаться.

Кто настоящий эгоист, кто с толком любит свой душевный комфорт, тот должен тщательно избегать таких воспоминаний. Вот почему, между прочим, и следует знакомиться

только с порядочными людьми, у которых дела их всегда в порядке, и надо их бросать, когда фортуна поворачивается к ним спиной. Это подлое, но очень практическое правило.

И вот прошла последняя ночь, прошло утро; я сбегал позавтракать невозможными блюдами *m-me Grillade*, – все в чайнии встретить там Шерамура, и, наконец, за час до отхода поезда нанял фиакр, взял мой багаж и уехал.

Я знал, что приеду на амбаркадер рано; это мне было нужно, чтобы встретиться с земляком, с которым мы условились ехать в одном поезде, притом я хотел поправить свой желудок несколько лучшим завтраком.

О Шерамуре размышлять было уже некогда, но зато он сам очутился передо мною в самую неожиданную минуту, и притом в особенном, мало свойственном ему настроении.

Глава семнадцатая

Перед самым главным подъездом амбаркадера северной дороги есть небольшой ресторан с широким тротуаром, отененным пятью густыми каштанами, под которыми расставлено множество белых мраморных столиков. Здесь дают настоящее мясо и очень хорошее красное вино. Таких ресторанчиков тут несколько, и все они главным образом существуют на счет отъезжающих и провожающих; но самый лучший из них это тот ресторан с пятью каштанами, о котором я рассказываю. Тут мы условились встретиться с земляком, с которым хотели держать путь, и как стоворились, так и встретились. Комиссионер избавил нас от всяких трудов по сдаче багажа и покупке билетов, и мы имели добрый час досужего времени для последнего завтрака под тенью парижских каштанов. Мы заняли один столик, спросили себе бифштексы и вина и не успели воткнуть вилки в мясо, как на империале выдвинувшегося из-за угла омнибуса появился Шерамур, которого я издали узнал по его волнующейся черноморской бо-

роде и бандитской шляпе. Он и сам меня заметил и сначала закивал головою, а потом скоро соскочил с империала и, взяв меня за руку, сжал ее и не только подержал в своей руке, но для чего-то поводил из стороны в сторону и даже промычал:

– Ну!

– Да, – говорю, – вот я и уезжаю, Шерамур.

Он опять пожал и поводил мою руку, опять что-то промычал и стал есть бифштекс, который я велел подать для него в ту минуту, когда только его завидел.

– Пейте вино, Шерамур, – поднимайте прощальную чашу, – ведь мы с вами прощаемся, – пошутил я, заговорив *in hochromantischem Stile*. [8]

– Могу, – отвечал он.

Я налил ему большой кубок, в который входит почти полбутылки, и спросил еще вина и еще мяса. Мне хотелось на расставанье накормить его до отвала и, если можно, напоить влагою, веселящею сердце.

Он выпил, поднял другой кубок, который я ему налил, сказал «ну», вздохнул, и опять поводил мою руку, и опять стал есть. Наконец

все это было кончено, он выпил третий кубок, сказал свое «буде», закурил капоральную сигаретку и, опустив руку под стол, стал держать меня за руку. Он, очевидно, хотел что-то сказать или сделать что-то теплое, дружественное, но не знал, как это делается. У меня в груди закипали слезы.

Я воспользовался его рукожатием и тихо перевел в его руку двадцатифранковый червонец, которым предварительно подавил его в ладонь. Он почувствовал у себя в руке монету и улыбнулся, улыбнулся совершенно просто и отвечал:

– Могу, могу, – и с этим зажал деньги в ладонь с ловкостью приказного старых времен.

– Ну как же, – говорю, – расскажите, любезный Шерамур, каков вышел дебют ваш в большом свете?

– Где это?

– В посольстве.

– Да, был.

– Что же... какой вы там имели успех?

– Никакого.

– Почему?

– Я не знаю.

– Ну, шутки в сторону; рассказывайте по порядку: вы нашли кого нужно?

– Нашел. Я сначала попал было куда-то, где написано: «Извещают соотечественников, что здесь никаких пособий не выдают». Там мне сказали, чтобы посмотреть, где на дверях заплата и на заплатке его имя написано.

– Ну, вы нашли зачатку и позвонили.

– Да.

– Вас приняли?

– Да, пустили.

– И вы рассказали этому дипломату всю вашу историю?

Шерамур посмотрел на меня, как делал всегда, когда ему не хотелось говорить, и отвечал:

– Ничего я ему не рассказывал.

Но я не мог позволить ему так легко от меня отделаться и пристал:

– Отчего же вы не рассказали? Ведь вы же с тем пошли...

– Да что ж, как ему рассказывать, если он не вышел.

– Что это за мучение с вами: «приняли», «не вышел», – говорите толком!

– Лакей пустил и велел пять минут подождать. Я подождал пять минут, а потом говорю: пять минут прошло. Лакей говорит: «Что делать, – monsieur,[9] верно, позабыл». А я говорю: «Ну так скажи же своему monsieur, что он свинья», – и ушел.

Я просто глаза вытаращил: неужто это и все, чем кончилась моя затея?

– А что же вам еще надо?

– Шерамур, Шерамур! Злополучное и бедное создание: да разве это так можно делать?

– А как еще надо делать?

– Да вы бы подумали – ведь мы из-за этого подняли целую историю: впутали сюда светскую даму...

– А ей что такое?

– Как что такое? Она вас рекомендовала, за вас старалась, просила, а вы пошли, обругали знакомого ей человека в его же доме и при его же слуге. Ведь это же так не водится.

– Отчего – не водится?

– Ну вот еще: «отчего?» – не водится, а вдобавок ко всему, может быть, вы поступили не только грубо, но и совершенно несправедливо.

Шерамур сделал вид резкого недоумения и вскричал:

– Как это... я несправедливо сделал!

– Да; вы несправедливо сделали; этот чиновник в самом деле мог быть занят, мог и позабыть.

– Ну, перестаньте.

– Отчего?

– Какие у них занятия!

– У дипломатов-то?

– Да!

– А сношения?

– Все глупости.

– Покорно вас благодарю.

– Разумеется; у них жрать всегда готовое. Я, батюшка, проходил, сам видел: внизу там повар в колпаке, и кастрюли кипели. Чего еще: жри пока не надо.

Я дольше не выдержал, рассмеялся и приказал подать еще вина.

Шерамур осветился; он почувствовал, что его пытка кончилась: он опять изловил мою руку, помял ее, поводит, вздохнул и сказал:

– Бросим... не надо ничего.

– Это дело о вашей судьбе бросить?

– Да; какая судьба... Ну ее!..

– А мне, – говорю, – ужасно даже это ваше равнодушие к себе.

– Ну вот – есть о чем.

«Русский человек, – думаю себе, – одна у него жизнь, и та – безделица». А он вдруг оказывает мне снисхождение.

– Вы, – говорит, – можете, если хотите, лучше в Петербурге.

– Что это такое?

– Да прямо Горчакову поговорите.

– А вы думаете, что я такая персона, что вижу Горчакова запросто и могу с ним о вас разговаривать и сказать, что в Париже проживает второй Петр Иванович Бобчинский.

– Зачем Бобчинский – сказать просто, так, что было.

– А вы думаете, я знаю, что такое с вами было?

– Разумеется, знаете.

– Ошибаетесь: я знаю только, что вас цыгане с девятого воза потеряли, что вас землемер в тесный пасалтырь заперал, что вы на двор просились, проскользнули, как Спиноза, и ушли оттого, что не знали, почему сие важно

В-ПЯТЫХ.

– Вот, вот это все и есть, – больше ничего не было.

– Неужто это так – решительно все?

– Да, разумеется, так!

– И больше *ничего*?

– Ничего!

– Припомните?

Припоминал, припоминал и говорит:

– Я у одной дамы был, она меня к одному мужчине послала, а тот к другому. Все добрые, а помогать не могут. Тогда один мне работу дал и не заплатил – его арестовали.

– Вы писали, что ли?

– Да.

– Что же такое?

– Не знаю. Я середину писал – без конца, без начала.

– И политичнее этого у вас всю жизнь ничего не было?

– Не было.

– Ну так вот же вам последний сказ: как вы себя дурно ни держали в посольстве, ступайте опять к этой даме и расскажите ей откровенно все, что мне сказали, – и она сама съез-

дит и попросит навести о вас справки: вы, верно, невинны и, может быть, никем не преследуетесь.

– Нет; к ней-то уж я не пойду.

– Почему?

Молчит.

– Что же вы не отвечаете?

Опять молчит.

– Шерамур! ведь мы сейчас расстаемся! говорите: почему вы не хотите опять сходить к этой даме?

– Она бесстыдница.

– Что-о?

Я от нетерпения и досады даже топнул и возвысил голос:

– Как, она бесстыдница?

– А зачем она черт знает что читать дает.

– Повторите мне сейчас, что такое она дала вам бесстыдное.

– Книжку.

– Какую?

– Нет-с, я этого не могу назвать.

– Назовите, – я этого требую, потому что я уверен, что она ничего бесстыжого сделать не могла, вы это на нее выдумали.

– Нет, не выдумал.

А я говорю:

– Выдумали.

– Не выдумал.

– Ну так назовите эту бесстыдную книжку.

Он покраснел и засмеялся.

– Извольте называть! – настаивал я.

– Так... вы по крайней мере – того...

– Чего?

– Отвернитесь.

– Хорошо – я на вас не гляжу.

– Она сказала...

– Ну!

Он понизил голос и стыдливо пролепетал:

– «Вы бы читали хорошие английские романы...» и дала...

– Что-о таакое?!

– «Попэнджой ли он!»

– Ну-с!

– Больше ничего.

– Так что же тут дурного?

– Как что дурного?.. «Попэнджой ли он»...

Что за мерзость.

– Ну, и вы этим обиделись?

– Да-с; я сейчас ушел.

Право, я почувствовал желание швырнуть в него что попало или треснуть его стаканом по лбу, – так он был мне в эту минуту досадителен и даже противен своею безнадежною бестолковостью и беспомощностью... И только тут я понял всю глубину и серьезность так называемого «петровского разрыва»... Этот «Попэнджой» воочию убеждал, как люди друг друга не понимают, но спорить и рассуждать о романе было некогда, потому что появился комиссионер и возвестил, что время идти в вагон.

Шерамур все провожал нас до последней стадии, – даже нес мой плед и не раз принимался водить туда и сюда мою руку, а в самую последнюю минуту мне показалось, как будто он хотел потянуть меня к себе или сам ко мне потянуться. По лицу у него скользнула какая-то тень, и волнение его стало несомненно: он торопливо бросил плед и побежал, крикнув на бегу:

– Прощайте; я, должно быть, муху сожрал.
Такова была наша разлука.

Глава восемнадцатая

Париж давно был за нами.

По мере того как я освобождался от нервной усталости в вагоне, мне стало припоминаться другое время и другие люди, которых положение и встречи имели хотя некоторое маленькое подобие с тем, что было у меня с Шерамуром. Мне вспомнулся дерзновенный «старец Погодин» и его просветительные паломничества в Европу с благородною целью просветить и наставить на истинный путь Искандера, нежные чувства к коему «старец» исповедал в своей «Простой речи о мудрых вещах» (1874 г.). Потом представился Иван Сергеевич Тургенев – этот даровитейший из всех нас писатель – и «мягкий человек»; пришел на ум и тот рослый грешник, чьи черты Тургенев изображал в Рудине, – человек, которого Тургенев видел и наблюдал здесь же, в этом самом Париже, и мне стало не по себе. Это даже жалостно и жутко сравнивать. Там у всех есть вид и содержание и свой нравственный облик, а это... именно что-то цыганами оброненное; какая-то за-

терть, потерявшая признаки чекана. Какая-то бедная, жалкая изморина, которую остается хоть веретенном встряхнуть да выбросить... Что это такое? Или взаправду это уже чересчур хитро задуманная «загадочная картинка», из тех, которыми полны окна мелких лавчонок Парижа? Глупые картинки, а над ними прилежно трудят головы очень неглупые люди. Из этих головоломок мне особенно припоминалась одна: какой-то завиток – серая размазня с подписью: «Qu'est-ce que c'est?».[10] Она более всех других интригует и мучит любопытных и сбивает с толку тех, которые выдают себя за лучших знатоков всех загадок. Они вертят ее на все стороны, надеясь при одном счастливом обороте открыть: что такое сокрыто в этом иероглифе? и не открывают, да и не откроют ничего – потому что там нет ничего, потому что это просто пятно и ничего более.

По возвращении в Петербург мне приходилось говорить кое-где об этом замечательном экземпляре нашей эмиграции, и все о нем слушали с любопытством, иные с состраданием, другие смеялись. Были и такие, которые

не хотели верить, чтобы за видимым юродством Шерамура не скрывалось что-то другое. Говорили, что «надо бы его положить да поласкать каленым утюжком по спине». Конечно, каждый судил по-своему, но была в одном доме вальяжная няня, которая положила ему суд особенный притом прорекла удивительное пророчество. Это была особа фаворитная, которая пользовалась в доме уважением и правом вступать с короткими знакомыми в разговор и даже делать им замечания.

Она, разумеется, не принадлежала ни к одной из ярко очерченных в России политических партий и хотя носила «панье» и соблюдала довольно широкую фантазию, но в вопросах высших мировых *coterie*[11] держалась взглядов Бежецкого уезда, откуда происходила родом и оттуда же вынесла запас русских истин. Ей не понравилось легкомыслие и шутливость, с которыми все мы отнесли к Шерамуру; она не стерпела и заметила это.

– Нехорошо, – сказала она, – человек ничевошный, над ним грех смеяться: у него есть ангел, который видит лицо.

– Да что же делать, когда этот человек никуда не годится.

– Это не ваше дело: так бог его создал.

– Да он и в бога-то не верит.

– А господь с ним – глуп, так и не верит, и без него дело обойдется, ангел у него все-таки есть и о нем убивается.

– Ну уж будто и убивается?

– Конечно! Он к нему приставлен и соблюдет. Вы как думаете: ведь чем плоше человек, тем ангел к нему умней ставится, чтобы довел до дела. Это и ему в заслугу.

– Ну да, вы как заведете о дураке, так никогда не кончите. Это у вас самые милые люди.

Она слегка обиделась, начала тыкать пальцем в рассыпанные детьми на скатерти крошки и с дрожанием в голосе dokonчила:

– Что они вам мешают, дурачки! их бог послал, терпеть их надо, может быть, он определится к такой цели, какой все вы ему и не выдумаете.

– А вы этому верите?

– Я? почему же? верю и уповаю... А вот вам тогда и будет стыдно!

«Вот она, – думаю, – наша мать Федорушка,

распредобрая, распретолстая, что во все края протянулася и всем ласково улыбнулася.

Украшайся добротою, если другим нечем».

Няня казалась немножко расстроена, и с нею больше не спорили и теплой веры ее не огорчали, тем более что никто не думал, что всей этой истории еще не конец и что о Шерамуре, долго спустя, получатся новейшие и притом самые интереснее известия.

Глава девятнадцатая

Прошло около двух лет; в Герцеговине кто-то встряхнул старые счеты, и пошла кровь. Было и не до Шерамура. У нас шли споры о том, как мы исполнили наше призвание. Ничего не понимая в политике, я не принимал в этих спорах никакого участия. Но с окончанием войны я разделял нетерпеливые ожидания многих, чтобы скорее начинала дешеветь страшно вздорожавшая провизия. Под влиянием этих нетерпеливых, но тщетных ожиданий я, бывало, как возвращаюсь с прогулки, сейчас же обращаюсь к этажерке, где в заветном уголке на полочке поджидает меня докучная книжка с постоянно возрастающей «передержкой». И вот раз, сунувшись в этот уголок, я нахожу какую-то незнакомую мне вещь – сверток, довольно дурно завернутый в бумагу, – очевидно книга. На бумаге нет ничьего имени, но есть какие-то расплывшиеся письмена, писанные в самый край «под теснотку», как пишут неряхи. Начинаю делать опыты, чтобы это прочесть, и после больших усилий читаю: «долг и за процент ж.

в. х.». Больше ничего нет.

Снимаю бумагу и нахожу книгу Ренана «St. Paul», [12] но прежде, чем я успел ее развернуть, из нее что-то выпало и покатилося. Начинаю искать, шарить по всем местам: что бы это такое вывалилось? Зову служанку, ищем вдвоем, втроем, всё приподнимаем, двигаем тяжелую мебель и, наконец, находим... Но что? – Находим чистейшего золота двадцатифранковую французскую монету! Не может же быть, чтобы она валялась тут исстари: пол метут, натирают, и не могли бы ее не заметить... Нет; монета положительно сейчас только выпала из книги. Но что это такое? зачем и кто мог сделать мне такое приношение? Ломаю голову, припоминаю, не положил ли я ее сам, соображаю то и другое и не прихожу ни к какому результату. Опять разыскиваю оберточную бумагу и рассматриваю письма, возлагая на них последнюю надежду узнать: что это за явление? Ничего более: «долг и за процент ж. в. х.». Характер почерка неуловим, потому что писано на протеучке, и все расплылось... Соображаю, что здесь *долг* и что – *процент*, или «за процент»:

монета долг, а книга «за процент», или наоборот? И потом, что значат эти «ж. в. х.»? Нет сомнения, что это не первые буквы какого-либо имени, а совсем что-то другое... Что же это такое? Подбираю, думаю и сочиняю: все выходит как-то странно и некстати: «жму вашу руку», – но последняя буква не та: «жгу ваш хол», тут все буквы соответствуют словам, но для чего же кому-нибудь было бы нужно написать мне такую глупость? Или это продолжение фразы: посылаю «долг и за процент» еще вот что, например, – «желтый ватошный халат» или «женский ватошный халат»... Все никуда не годится. Глупый водевильный случай, а интересуется! Даже во сне соображаю и подбираю «желаю вам хорошего». Вот, кажется, это пошло на дорогу! Еще лучше: «живу весьма хорошо»; или... наконец, батюшки мои! батюшки, да это так и есть: не надлежит ли это читать... «жру всегда хорошо»? Решительно это так, и не может быть иначе. Но тогда что же это значит: неужто здесь был Шерамур? Неужто он появился в Петербурге именно теперь, в это странное время, и проскользнул ко мне? Какова отчаянность! Или,

может быть, его простили и разрешили, и он ходит смело по вольному паспорту... Ведь, говорят, все возможно в природе.

Я припомнил, что девушка мне дня три-четыре назад сказывала о каком-то незнакомом ей господине, который приходил, спрашивал, просил позволения «обождать» и ждал, но не дождался, ушел, сказавши, что опять придет, но до сих пор не приходил.

Расспрашивал: каков был приходивший ростом, дородством, лицом – красотой? – ничего не добился. Все приметы описывают точно на русском паспорте: к кому хочешь приложи – всем одинаково впору будет.

Остается одно: книгу поставить на полку, золото спрятать, а незнакомца ждать. Я так и сделал, и ждал его терпеливо, с надеждою, что авось он и совсем не придет. Так минул день, два, неделя и месяц, и наконец, когда я совсем перестал ждать, – он вдруг и явился.

Звонок; девушка отпирает дверь и спешно бежит вперед гостя шепнуть:

– Это тот, который ждал.

Легкое волнение, и выхожу навстречу.

Глава двадцатая

Входит человек средних лет, совершенно мне незнакомый и называет себя незнакомым же именем.

Прошу садиться и осведомляюсь: чем могу служить.

– Я, – говорит, – недавно из-за границы; жил два месяца в Париже и часто виделся там с одним странным земляком, которого вы знаете. Он дал к вам поручение – доставить посылочку. Я ее тут у вас и оставил, чтобы не носить, но позабыл сказать прислуге.

– Я, – отвечаю, – нашел какую-то посылочку; но от кого это?

Он назвал Шерамура.

– Как же, – говорю, – очень его знаю. Ну что он, как, где живет и все так же ли бедствует, как бедствовал?

– Он в Париже, но что касается бедствования, то в каком смысле вы это берете... Если насчет жены...

– Как, – говорю, – жены!.. Какая жена! Я спрашиваю: есть ли у него что есть?

– О, разумеется – он вовсе не бедствует:

он «проприетер», женат, сидит grand mangeur'ом[13] в женином ресторане, который называет «обжорной лавкой», и вообще, говоря его языком, «жрет всегда хорошо», – впрочем, он это даже обозначил начальными буквами, в полной уверенности, что вы поймете.

– Понять-то я понял, но что же это... как же это могло случиться... Ангел... конечно, много значит... но все-таки...

Всматриваюсь в моего собеседника – думая, коего он духа, – не вышучивает ли он меня, сообщая такие нестаточные дела о Шерамуре? Нет; насколько мне дано наблюдательности и проникновения, господин этот производит хорошее впечатление – по-видимому, это экземпляр из новой, еще не вполне обозначившейся, но очень приятной породы бодрых людей, не страдающих нашим нервическим раздражением и беспредметною мнительностью, – «человек будущего», который умеет смотреть вперед без боязни и не таять в бесплодных негодованиях ни на прошлое, ни на настоящее. Люди прошлого ему представляются больными с похмелья; он на них

не сердит и даже совсем их не судит, а словно провожает на кладбище, приговаривая: вам гнить, а нам жить.

Я люблю эту породу за то, что в ней есть нечто свежее, нечто уже не наше, нечто нам не свойственное, но живучее и сильное. Они выросли как осот на межах между гряд, и их уже не выполешь. Русь будет скоро не такая, как мы, а такая – как они, и слава богу, слава богу!

Поняв, что мой гость относится к этому сорту, я сейчас же усадил его в более покойное кресло, велел подать чай и бесцеремонно (как следует с такими людьми) попросил его рассказать мне все, что ему известно о моем Шерамуре, – как он женился и сделался парижским «проприетером».

Гость любезно согласился удовлетворить мое любопытство.

Глава двадцать первая

Шерамуру помогла славянская война в Турции. Но как он мог вздумать воевать? Не противно ли это всей его натуре и всем доводам его бедного рассудка? И против кого и за кого он мужествовал и сражался? Все это было, как вся его жизнь, – бестолково.

Вот как шло дело: он *начитал* в газетах, что турки обижают бедных славян, отнимая у них урожай, стада и все, что надо «жрать». Этого было довольно: долго не рассуждая, он восстал и пошел по образу пешего хождения в Черногорию. Он попал в «Волдавию» или «Молдахию», где соединился с «доброходцами» и явился в Сербию, образцовые порядки которой делали нелишним здесь даже Шерамура. Он поступил куда-то, во что-то, о чем, по своему обыкновению, не умел дать никакого резонного отчета. На войне он «барабанил», чего я даже не мог ожидать от него, но потом нашел, что в Сербии у всех жратвы больше, чем он видел во весь свой век. «Даже вином прихлебывают». Никаких иных интересов, достойных борьбы за жизнь и смерть,

Шерамур, понимаете, не признавал, но в этом его нельзя винить, потому что он не мог их чувствовать. И вот он духом возмутился: за что он сражается: если у них есть, что жрать, то чего же им еще надо? «Черти проклятые!.. с жиру бесятся! к нам бы их спровадить, чтобы в черных избах пожили да мякины пожевали!» Славянские претензии Шерамур все считал пустяками, которые Аксаков в Москве выдумал вместе с Кокоревым, и Шерамур рассердился и «вышел», то есть перестал барабанить. Некоторое время он слонялся без дела, но ощущал себя в полном довольстве: «везде, говорит, есть кукуруза и даже вином запивают, как в царстве небесном». Таково его понятие о царстве небесном. Но вот, переходя туда-сюда, с плохими и бестолковыми расспросами, он был, наконец, приведен своим ангелом куда ему следовало; напал на таких людей, которые тоже подобно ему подвывали:

*Холодно, странничек, холодно,
Голодно, родименький, голодно.*

Глава двадцать вторая

Шерамур здесь сейчас «определился». Опять как и под каким заглавием? это он, по непримиримой вражде ко всякой определенности, излагал не ясно; но можно было понять, что он в качестве человека черноморского и с «сербским квитом» был в числе санитаров. Кому-то где-то его отрекомендовал какой-то, по его словам, «очень добрый и вполне неверующий монах». Прозорливый инок уверил кого-то, что лучше Шерамура нет, чтобы «приставить к пище». И вот наш чудак в первый раз во всю жизнь попал на место по своему настоящему призванию. И зато, говорят, как же он действовал: крошке не позволял пропасть, все больным тащил. Сам только «хлёбово» ел, а свою порцию котлет солдатам дробил, выбирая, который ему казался «заморенней». Начальство, «сестры» – все им были довольны, а солдатики цены не слагали его «добродетели».

Даже которого, говорят, монах на смерть отысповедует, он и тому, мимо идя, еще кусочек котлетки в рот сунет – утешает: «жри».

Тот и помирать остановится, а за ним глазом поведет.

И кончилось все это для Шерамура чем же? тем, что он сам не заметил, как, при его спартанстве, у него к концу службы собралась от жалованья «пригоршня золота». Сколько его там было – он не считал, но повез все в свою метрополию, к «швейцарцам», – чтобы делить. Привез к одному из митрополитов и «высыпал». Стали говорить и поспорили: тот «всё» хотел взять на «дело», но Шерамур не дал. Он настаивал, чтобы прежде всего «с-творить какую-то вселенскую жратву», то есть «пожрать и других накормить», и ограничился на этом так твердо, что «*тот* цапнул с краю и ушел». Сколько именно он у него взял – Шерамур не знал: «цапнул с краю», да и баста. Деньги были не считанные, да и считать их незачем: «все равно не воротить».

Шерамур увидел, что здесь делят неладно, и уехал в Париж. Здесь он знал честную душу, способную войти во все его многопитательные виды и оказать ему самое непосредственное содействие; драгоценный человек этот была Tante Grillade.

Она приняла Шерамура и его золото совсем не так, как «швейцарские митрополиты».

Tante Grillade ввела Шерамура в свой *arrière boutique*, [14] что составляет своего рода «святая святых» еврейской скинии, и пригласила его всыпать там все золото в комод, запереть и ключ взять с собою. Vous положили пока не собирать. Tante сказала, что знает нечто лучшее, – и назначила Шерамуру прийти к ней вечером, когда она будет свободна. Они вместе должны были обдумать, как лучше распорядиться таким богатством, которое в практичных руках нечто значило.

Шерамур, которому до сих пор никакие комбинации никогда не приходили, думал просто: оставить деньги у Танты и водить к ней голодных, пока она подаст счет и скажет: *tout est fini*. [15] Но Tante Grillade была гораздо дальнороче и умнее Шерамура, и притом, на счастье его, она имела на него планы.

Глава двадцать третья

Вечером, когда Шерамур пришел к Танте, он встречен был необыкновенно: «кормежная» зала, дальше которой и во дни благополучий не заходил Шерамур, теперь была свободна от гостей, подметена и убрана. В ней еще было влажно и пахло «картофелем и маркофелем», но в угле, шипя и потрескивая, горела маленькая угольная печечка и очищала воздух. Зато через открытую дверь виднелось настоящее чудо декоративного устройства. *Arrière boutique*, которая днем казалась отвратительным колодезным днищем, куда никогда не проникал свет и где *Tante Grillade* едва поворачивалась, как черепаха в шайке, теперь представляла очень уютный уголок. Серая стена, которая заслоняла весь свет широкого, но совершенно бесполезного окна, теперь была заслонена пышной белой драпировкой с фестонами, подхваченными розовыми лентами. Вместо слабых, тщедушных рефлексов внешнего света комната была до избытка освещена и согрета огнем двух ламп, стоявших по углам неизбежного мра-

морного камина. Вся эта комната была так мала, что представляла какой-то клубочек, в котором ничто не расходилось, а все сматывалось. На пространстве каких-нибудь четырех квадратных аршин тут были и двуспальная кровать Tante Grillade, и комод, где теперь хранилось Шерамурово золото, и камин с веселым огоньком, и круглый стол, на котором прекрасно дымилась чистая вазочка с бульоном из настоящего мяса. Кроме этого, тут же стояли литр красного вина и корзинка с лакомством «четыре нищих».

Сама Grillade тоже была в авантаже: седые крендели на ее висках были загнуты как-то круче и крепче обыкновенного и придавали ее опытному лицу внушительность и в то же время нечто пикантное.

Здесь у места сказать, что Шерамур в этот раз впервые вкушал хлеб и пил сок винограда tête-a-tête с женщиной. И он не рассуждал, но чувствовал истину догмата, что для счастья недостаточно достать кусок хлеба, но нужно иметь с кем его приятно съесть.

Затрапезный разговор их никем не записан, но он был очень серьезен и шел исклю-

чительно о деньгах. Tante доказала Шерамуру, что если держать его деньги в ее комодe и кормить на них *voуou*, то этих денег хватит не надолго; они выйдут, и *voуou* опять будет не на что кормить.

Шерамур согласился и задумался, а Tante Grillade показала выход, который состоял в том, чтобы пустить деньги в оборот. Тогда эти деньги дадут на себя другие деньги, и явится неистощимая возможность всегда жрать и кормить других.

Шерамур захлопал руками: «*Voilà*[16] – говорит, – *voilà*, это и нужно! Одна беда: как пустить деньги, кому доверить; кто не обманет?»

Шерамур закивал головою: ему вспомнились его швейцарские митрополиты, и он как перепел забил: «Вуй, вуй, мадам, вуй, вуй, вуй».

А потом, когда вслед за тем Tante встала, чтобы подать *compote des pommes*,[17] Шерамур, глядя ей стыдливо в спину, вымолвил:

- Да возьмите вы эти деньги, Танта!
- На какой предмет, *monsieur*?
- Да делайте что знаете, наживайте.

Но Танта нашла это невозможным.

– Я наживу и умру, а вас выгонят.

– Гм... Да... подлость... А сколько бы человек можно постоянно кормить?

– Можно человека два кормить раза по два в неделю, или, еще лучше, троих каждое воскресенье. И кроме того, раз в год можно сделать особый пир, на котором никого не будет, кроме бездомных *voou*.

У Шерамура даже сердце забилося от такой мысли, и когда Tante Grillade, вооружась щипчиками, принялась за *noisettes*, [18] он застенчиво приступил к ней.

– Ну так как же, Tante, – как это сделать? – а Tante, надавливая крепкий орех, посмотрела на него и дружески ответила:

– Надо жениться.

– Ну вот! Зачем?

– Затем, что у вас тогда все будет общее, и если жена наживет – это принадлежит и мужу. Тогда, например, будь это я: я отдаю вам весь мой ресторан, и мы никого сюда больше не пустим.

– Да, да, вот... это самое: никого, никого не пустим! – вскричал Шерамур, и в сладостном

исступлении ума и чувств он схватил Tante за обе руки и мял их и водил из стороны в сторону, пока та, глядя на него, расхохоталась и напомнила ему, что пора убираться.

На другой день вечером его опять повлекли сюда и мысль о пире нищих и, может быть, уютный уголок при камине, чего он, по своей непрактичности, не знал, как устроить даже с деньгами.

И вот он опять явился и говорил:

– Можно ли, чтобы опять... здесь... по-вчерашнему?

– Ага, я понимаю: ты, плутишка, верно нашел себе жену и хочешь со мной говорить? Хорошо, хорошо, – садись: вот вино и баранина.

– Да; а жены нет. Вот если бы вы... захотели...

– Найти тебе невесту?

– Нет, если бы... вы... сами...

– Что это? уж не хочешь ли ты сделать позднюю поправку к проступку третьего Наполеона?

– Именно это!

– Но едва ли это будет тебе по силам, мой

бедный мальчик. Ведь тебе с чем-нибудь тридцать, а мне сорок восемь.

Видя простоту Шерамура, Tante Grillade решила на этот случай сократить свою хронологию более чем на пятнадцать лет, но это было совершенно не нужно. Ни лета, ни наружность Танты не имели в глазах Шерамура никакого значения.

– Это ничего.

– А если так, то вот тебе моя рука и дружба до гроба.

Они обнялись, поцеловались и обвенчались, причем Танта безмерно возросла в глазах мужа через то, что получила какие-то деньги с какого-то общества, покровительствующего бракам.

Вечером у них был «пир нищих» – пир удивительный. Гости пришли даже из Бельвиля, и все один голоднее другого и один другого оборваннее. Шерамур, приодетый Тантой в какую-то куртку, был между ними настоящий король, и они с настоящей деликатностью нищих устроили ему королевское место.

Без всяких ухищрений с ним совершился святой обычай родной стороны: Шерамур был

князем своего брачного вечера. Им занимались все: жена, гости и полиция, которая могла заподозрить здесь некоторое движение в пользу наполеонидов.

Особенно возбудителен был один момент, когда подали *beignets aux pommes*, [19] и три человека, подученные Tante Grillade, вынули из-под стола незаметно туда прятанную корзинку; в корзинке оказался большой, немного увядший веночек, дешево купленный Тантою у какого-то капельдинера. В венке были стоптаны несколько цветков, но зато его освежили ярким пучком румяных вишен и перевязали длинным пунцовым вуалем с надписью: «Bon oncle Grillade». [20]

Веночек возложили на голову Шерамура и этим актом навсегда лишили его клички, данной ему англичанкою: с сей поры он сделался «теткин муж» и очень много утрачивал в своей непосредственности. Но он об этом не думал. К тому же историческая точность обязывает сказать, что добрый *oncle Grillade* в настоящую торжественнейшую минуту его жизни был пьян, и это не его вина, а вина доброй Танты, которая всеми мерами позаботилась

облегчить все предстоящие ему задачи.

И, к чести ее, она с первых же шагов показала, что знает и тактику и практику. Когда *sergent de ville* постучал в дверь, чтобы честная компания разошлась, и довольные необыкновенным угощением *voeuu* рассыпались, а *jeunes mariés*[21] остались одни, Tante Grillade, ни слова не говоря, взяла своего маленького мужа на руки, повесила его веночек над кроватью, а самого его раздела, умыла губкою и положила к стенке. Шерамур все выдержал с стоицизмом своего звания и потребовал только одно, чтобы ему дали оставшийся в венке пучок вишен. И когда Tante его удовлетворила, он их немедленно «сожрал» и покорился своей доле.

Но не была ли эта доля слишком сурова? Вот небольшие сведения, которые позволяют кое-что умозаключать об этом.

Глава двадцать четвертая

Танте не злоупотребляла своими преимуществами: она была великодушна, как настоящая дочь бульвара. Единственное, что отравляло покой Шерамура, – опять-таки губка – это страшное орудие, которым повсюду ему угрожали женские руки. Но зато он из этого научился навлекать некоторые выгоды в пользу бедных. Если ему встречалась надобность помочь ближнему не в счет абонементов и Танта этому противилась, – он «не давался умыть» и всегда успевал настоять на своем.

Повествователь видел его в такой борьбе и уловил кое-что из ее сути. Он говорил, как они многие сообщая хотели кому-то помочь и как к этому стремился дядя Грильяд, но ничего не принес и сам пропал. А потом, когда рассказчик зашел к нему вечером, чтобы увести его на прощальную пирушку, он застал дядю в стирке: Танта только что вытерла ему лицо губкою и обтирала его полотенцем.

Здороваясь с гостем, он сейчас же сунул ему в руку золотой и сказал:

– Передайте, я только сейчас у нее выпро-

сил.

– Но я за вами, чтобы вместе попировать.

– Это теперь невозможно.

– Отчего?

– Я занят – видите: меня уже губкой вытерли.

– Тем лучше идти в гости.

– Нет, – как же в гости, – я говорю вам, что я занят. Надо же честно нести свой сакрифис.

И он остался в пользу бедных при своей Омфале.

Сообщил я об этом толстой няне в «панье» и со шнипом. Хлопнула себя она обеими руками по крутым бедрам и расхохоталась.

– Видишь, – говорит, – какое ему вышло определение.

– А как полагаете: счастлив он этим или нет?

– А отчего же не быть счастливым: как она женщина степенная и в виду, так и очень, может быть, счастлив.

И впрямь – все же это лучше, чем было ему во всю его прошлую жизнь.

Я боюсь, что мой Шерамур вам не совсем понятен, читатель, но это не моя вина; я его

записал верно. Лично я, по долгому навыку с ним обращаться, все в нем нахожу простым и понятным. Это видовая, а не родовая особенность: он сын своего родителя, и мне в нем видны крупные родственные черты, сближающие его даже с обращавшею его в христианство графинею. Это не новая новинка, а только остатки давнего худосочия. Шерамур такой же «мизантроп, развлекающий свою фантазию», как его родитель и графиня; только он, разумеется, их без сравнения сердечнее; но это взято им не от них, а принесено оттуда, откуда дух дышит – приходит и уходит, но никто его не узнаёт. Шерамур человек ни на что не нужный, точно так же, как и те, и он благополучно догниет в одно с ними время. Вся разница будет в том, что о первых скажут: «они скончались», а о Шерамуре, что он – «околел». Но, может быть, это не так серьезно, как некоторые полагают, или по крайней мере не составляет самого решительного для вечности с ее бесконечным путем.

Пьеса кончена, и читатель может меня теперь спросить: зачем она попала в одну книгу с рассказами о трех праведниках, с которыми

у Шерамура, по-видимому, нет ничего общего в природе?

Такой вопрос очень возможен, и я, предвидя его, спешу дать мой ответ. Шерамур поставлен здесь по двум причинам: во-первых, я опасался, что без него в этой книжке не выйдет определенного числа листов, а во-вторых, если сам Шерамур не годится к праведным даже в качестве *юродивого*, то тут есть русская няня, толстая баба с шнипом, суд которой, по моему мнению, может служить выражением праведности всего нашего умного и доброго народа.

*Впервые опубликовано – «Новое время»,
1879.*

Примечания

Никто – *лат.*

[^^^]

оборванцев – *франц.*

[^^^]

3

добровольный послушник – *франц.*

[^^^]

4

исполняй свой долг – *франц.*

[^^^]

полицейский – *франц.*

[^^^]

6

важным синьором – *итал.*

[^^^]

свидание – *франц.*

[^^^]

8

В высокоромантическом стиле – *нем.*

[^^^]

ГОСПОДИН – *франц.*

[^^^]

Что это такое? – *Франц.*

[^^^]

ценностей – *франц.*

[^^^]

«Святой Павел» – *франц.*

[^^^]

обзора – *франц.*

[^^^]

задняя комната за лавкой – *франц.*

[^^^]

все кончено – *франц.*

[^^^]

Вот – *франц.*

[^^^]

яблочный компот – *франц.*

[^^^]

орешки – *франц.*

[^^^]

оладьи из яблок – *франц.*

[^^^]

«Доброму дяде Грильяд» – *фрanci.*

[^^^]

молодожены – *франц.*

[^^^]